



Эмили Бронте

Грозовой перевал



Библиотека Всемирной Литературы

Эмили Бронте
Грозовой перевал

«ЭКСМО»

1847

УДК 821.111-31
ББК 84(4Аӑӓ)-44

Бронте Э.

Грозовой перевал / Э. Бронте — «Эксмо», 1847 — (Библиотека
Всемирной Литературы)

ISBN 978-5-04-089034-7

Любителям «страшилок» просьба обратить внимание: готический роман, неоднократно упоминающийся в вампирской саге «Сумерки», и одновременно самая романтическая книга всех времен – «Грозовой перевал» Эмили Бронте. Трагедия разворачивается на фоне мрачных вересковых пустошей в «дьявольской книге, невысказанном чудовище, объединившем все самые сильные женские наклонности...».

УДК 821.111-31
ББК 84(4Аӑӓ)-44

ISBN 978-5-04-089034-7

© Бронте Э., 1847
© Эксмо, 1847

Содержание

Глава I	6
Глава II	9
Глава III	15
Глава IV	22
Глава V	26
Глава VI	28
Глава VII	34
Глава VIII	40
Глава IX	46
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Эмили Бронте

Грозовой перевал

© Грызунова А., перевод на русский язык, 2017

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

Глава I

Год 1801. Только что возвратился, посетив своего домовладыку – одинокого соседа, коему предстоит тревожить мой покой. Восхитительные здесь края. Во всей, представляется мне, Англии не найдется мест, столь совершенно удаленных от сумятицы общества. Рай мизантропа; и нам с господином Хитклиффом вполне пристало делить подобное уединенье. Превосходный человек! Едва ли он постигал, сколь потеплел я к нему душою, узрев, как черные его глаза подозрительно спрятались под бровями, когда я подгарцевал ближе; как пальцы его с ретивой решимостью глубже погрузились в карманы жилета, когда я представился.

– Господин Хитклифф? – осведомился я.

Кивок был мне ответом.

– Я Локвуд, сэр, ваш новый жилец. Почитаю за честь прибыть немедленно по приезде, дабы выразить надежду, что не затруднил вас, упорствуя в своем намерении арендовать Скворечный Усад, – вчера я слышал, у вас имелись некие соображенья...

– Я, сэр, в Скворечном Усаде хозяин, – перебил он меня, поморщившись. – И затруднить меня затруднительно, если я могу сие предотвратить... входите!

«Входите» он процедил сквозь зубы, имея в виду рекомендовать мне катиться к чертям, и даже ворота, разделявшие нас, слов его не поддержали и не дрогнули; полагаю, однако, что обстоятельства потребовали от меня принять приглашение – человек, являвший замкнутость еще нарочитее моей, пробудил во мне интерес.

Обнаружив, что лошадь моя положительно таранит препону грудью, он соизволил шевельнуть рукою и отворить ворота, первым угрюмо зашагал по мощеной дорожке и, ступив на двор, окликнул:

– Джозеф, уведи лошадь господина Локвуда; да принеси нам вина.

«Иных домочадцев здесь, по видимости, не имеется, – вот какое наблюденье подсказал мне порядок в сем доме. – Нечего и дивиться, что на дорожке меж плит пробивается трава, а изгородь стригут лишь овечьи зубы».

Джозеф был немолод – паче того, престарел, и даже, вероятно, очень стар, однако жилист и крепок.

– Господи помоги! – не без сварливого неудовольствия воззвал он, принимая у меня поводья моей лошади и между тем взирая мне в лицо весьма кисло; милосердие понудило меня предположить, что слуге не обойтись без Божьей помощи в рассуждении пищеваренья, а благочестивый возглас его не имеет касательства к моему внезапному визиту.

Громотевичная Гора – вот как зовется обиталище господина Хитклиффа, говоря же проще – Грозовой Перевал. «Громотевичная» – таким образным манером на местном диалекте описывают атмосферные треволнения, коим в бурную непогоду подвержено сие жилище. Сколь неизменно чист и свеж здесь эфир: о мощи северного ветра, что задувает из-за утеса, нетрудно догадаться по крутому наклону редких корявых елей на задах и по веренице чахлах боярышников, что тянут ветви в одну лишь сторону, будто алча солнечной милости. По счастью, архитектору достало дальновидности сложить дом на славу: узкие окна глубоко утопают в стене, а углы укреплены рустами.

У порога я помешкал, залюбовавшись гротесковой резьбою, обильно украшавшей фасад и всего более – парадную дверь, над каковою средь полчищ крошащихся грифонов и бесстыжих младенцев мужеского полу я разглядел дату «1500» и имя «Хэртон Эрншо». Я бы отпустил замечанье-другое и испросил у хмурого владельца краткую историю поместья, однако тот воздвигся в дверях, побуждая меня к поспешному вступлению в дом либо срочному отбытию, а я не питал желания приумножать его гнев прежде, нежели осмотрю святая святых.

Первым же делом мы шагнули в семейную гостиную, не предваренную ни прихожей, ни коридором: в здешних местах это помещение главным образом и называют «домом». Обычно тут же располагаются кухня и салон; однако, по моему впечатлению, в Громотевиной Горе кухню оттеснили в иные пределы – по крайней мере, из глубин я уловил болтовню и звон столовых приборов, а в громадном очаге не обнаружил ни малейших признаков жарки, варки или же выпечки и равно не заметил проблесков медных кастрюль и жестяных ковшей по стенам. У одной стены, впрочем, свет и жар замечательно отражались от громадных оловянных блюд, перемежаемых серебряными кувшинами и кружками, что рядами высились на огромном дубовом буфете под самую крышу. Эта последняя лишена была потолка: вся ее анатомия открывалась пытливому взору, лишь отчасти заслоняемая деревянными балками, кои были обременены овсяными лепешками и гроздьями говяжьих ног, свиных окороков и баранины. Над очагом располагались во множестве грозные старые ружья и пара кавалерийских пистолетов; три размалеванные жестянки, установленные на полке, служили орнаментацией. Пол – гладкого белого камня; стулья – с высокими спинками, грубой работы и выкрашены зеленым; черное кресло-другое таилось в тени. В нише под буфетом лежал громадный пойнтер – сука шоколадного окраса в окружении обильного визжащего помета; в прочих укромных углах хоронились другие собаки.

Сии апартаменты и обстановка прекрасно подошли бы непритязательному северному фермеру, обладателю упрямой гримасы и крепких рук, что трудится к собственному благу, оных рук не покладая и облачившись в бриджи с подтяжками. Улучив подходящую минуту после обеда, подобную личность в кресле за кружкой пенного эля на круглом столике узришь, прогулявшись меж этих холмов миль на пять или шесть в любую сторону. Однако господин Хитклифф составляет выдающийся контраст своему жилищу и укладу. Лицом он смуглый цыган, нарядом и повадками джентльмен – говоря точнее, джентльменством едва ли уступит многим сельским сквайрам: пожалуй, неопрятен, хотя небрежность его скрадывается чопорной фигурой и красивым сложеньем; к тому же он весьма угрюм. Кое-кто заподозрит в нем, вероятно, нечистокровную заносчивость, но сочувственные струны во мне противятся сему допущению: я инстинктивно постигаю, что сдержанность его происходит из нежеланья выставить чувства напоказ – обнаруживать взаимную доброту. Он равно склонен любить и ненавидеть скрытно и ответную любовь или же ненависть сочтет проявлением дерзости. Нет, я слишком тороплюсь: чрезмерно щедро наделяю его чертами собственного нрава. Быть может, господин Хитклиффа воздерживаться от рукопожатия при встрече с будущим знакомцем побуждают решительно иные мотивы, нежели движут мною. Оставьте мне надеяться, что склад моего характера едва ли не своеобразен: как говаривала моя дражайшая матушка, не найдется пристанища, где я смогу преклонить голову, и лишь минувшим летом я оказался совершенно подобного пристанища недостоин.

Проводя отрадный погожий месяц на побережье, я волею судьбы очутился в обществе восхитительного создання: она виделась мне подлинной богиней, пока не замечала меня. Вслух я «чувств своих не раскрыл», однако, если б заговорили взоры, даже распоследний идиот догадался бы, что я влюблен по уши; в конце концов она поняла меня, послала ответный взор – и невозможно было вообразить взора нежнее. Но что же сделал я? Каюсь со стыдом: улиткою забрался холодно в раковину, в ответ на всякий следующий взгляд отступал все холоднее и дальше, пока несчастное невинное дитя не усомнилось в собственном рассудке и, придя в смятение пред лицом якобы ошибки, не убедило свою мать сняться с лагеря. Сия любопытная причуда характера заслужила мне репутацию расчетливой бессердечности, и лишь мне одному ведомо, сколь незаслуженно подобное суждение.

Я сел обок от очага, в углу, противоположном тому, к которому направился мой домовладыка, и заполнил повисшую паузу, отважившись погладить собачью мамашу – та бросила своих

отпрысков и волчьим манером подбиралась с тыла к моим ногам, задрав губу и голодно роняя слюну с клыков. Моя ласка исторгла из нее продолжительный утробный взрык.

– Не трогали бы вы псину, – в унисон с нею проворчал господин Хитклифф, пинком предотвратив дальнейшие изъяснения свирепости. – Ее не балуют и за комнатную собачку не держат, она к такому не привычна. – И затем, шагнув к боковой двери, снова крикнул: – Джозеф!

Джозеф откликнулся невнятным бормотаньем из глубин подпола, однако не выказал намерения подняться, и посему хозяин его низвергся в глубины сам, оставив меня *vis-à-vis* со злобной сукой и парой грозных кудлатых овчарок, кои вместе с нею ревниво стерегли малейшее мое движение. Не желая накоротке познакомиться с их клыками, я сидел неподвижно, однако, решив, что сие трио вряд ли понимает бессловесные оскорбления, принялся, увы, подмигивать им и корчить рожи, а некая перемена моего лица так прогневила мадам, что та внезапно озверела и скакнула мне на колени. Я отпихнул ее и поспешно отгородился столом. Сей поворот разворошил весь улей: к средоточию кутерьмы из разнообразных тайных убежищ восстали полдюжины четвероногих друзей всевозможных размеров и возрастов. Ощущения говорили мне, что атаке подвергаются главным образом мои пятки и фалды; кочергой в меру сил отбиваясь от противников покрупнее, я принужден был громко воззвать к кому-нибудь из домочадцев, дабы пришли и восстановили мир.

Господин Хитклифф со слугой взбирались по подвальной лестнице с досадной флегматичностью; мне представляется, шаг их не ускорился ни на секунду, хотя вокруг очага стоял лай и положительно бушевала буря. По счастью, кухонная прислуга оказалась расторопней: дородная дама с заправленным подолом, оголенными руками и пылающими щеками ворвалась к нам на поле боя, размахивая сковородой; применив свое оружие, а равно свой язык, дама как по волшебству утишила ураган, и когда появился хозяин дома, на сцене пребывала она одна – волнуясь всем телом, точно море после шторма.

– Это что тут за дьявольщина? – осведомился господин Хитклифф, меряя меня взглядом, коего я после столь нерадушного приема снести не мог.

– Дьявольщина, иного слова не подобрать! – буркнул я. – Ваши твари, сэр, похуже стада одержимых свиней¹. Отчего ж было не оставить гостя в обществе тигров?

– Кто ничего не трогает, того и они не тронут, – заметил он, поставив передо мною винную бутылку и поправив сдвинутый стол. – Собаки молодцы, хорошо стерегут. Угодно вина?

– Нет, благодарю.

– Не покусали вас?

– Если бы покусали, так легко бы не отделались.

Лицо Хитклиффа расплылось в улыбке.

– Ну полноте, господин Локвуд, – молвил он, – вы переволновались. Вот, выпейте вина. Наш дом так редко навещают – я вполне готов признать, что мы с собаками едва ли помним, как надлежит оказывать гостям прием. Ваше здоровье, сэр?

Наклонив голову, я ответил ему той же здравицей, сообразив, что глупо было бы сердиться на выходки собачьей своры; кроме того, не хотелось, чтобы этот человек и дальше находился во мне предмет для забавы, раз на него нашел подобный стих. Он – надо полагать, благоразумно рассудив, что незачем обижать хорошего жильца, – слегка оттаял и, уже не столь лаконически опуская местоимения и вспомогательные глаголы, поднял тему, коей предполагал меня заинтересовать, – а именно заговорил о достоинствах и недостатках моего нынешнего места обитания. В беседе он явил острый ум; и перед отъездом я расхрабрился настолько, что испросил дозволения повторить визит назавтра. Было очевидно, что нового моего вторженья он не желает. Я тем не менее поеду. В сравнении с ним я на диво общителен.

¹ Аллюзия на: Мф. 8:28–33. – Здесь и далее прим. переводчика.

Глава II

Вчера пополудни день заволокло туманом и холодом. Я отчасти склонялся не брести по вереску и грязи в Громотевиичную Гору, а остаться в кабинете у камина. Однако, отобедав (N.B.: обедаю я в первом часу дня; экономка, почтенная женщина, прилагавшаяся к дому беспрерывным его атрибутом, неспособна либо не желает постичь мою просьбу подавать обед в пять), взойдя по лестнице во власти помянутого стремленья к лени и вступив в комнату, я узрел служанку, что на коленях, обложившись щетками и ведерками для угля и поднимая адскую пыль, горами золы тушила пламя в камине. Зрелище сие тотчас погнало меня прочь; я взял шляпу и, прошагав четыре мили, прибыл к садовым воротам Хитклиффа, как раз успев избежать первых пушистых хлопьев снегопада.

Почернелая земля на сей унылой вершине закаменела от мороза, и на холоде я дрожал каждым членом своим. Снять цепь мне не удалось, а посему я перескочил ворота, взбежал по мощеной дорожке, там и сям обсаженной крыжовником, и затем стучался в дверь, пока не заболели костяшки и не взвыли собаки; вотще.

«Будь прокляты обитатели сего дома! – про себя воскликнул я. – Столь грубой неприветливостью вы заслужили вечного отлученья от себе подобных. Я-то хотя бы не запираю двери днем. Все равно – внутрь я пробьюсь!» – Преисполнившись такой решимости, я схватился за дверную рукоять и рьяно потряс. Из круглого амбарного окошка высунул голову кислотикий Джозеф.

– Вы тутось чогой? – прокричал он. – Сам в овчарник пшёл. Вам итить кругалем за пуню, коли с им охота побакулить.

– А внутри открыть некому? – ответно воззвал я.

– Никогой нетути, окромя оспожы, а вона не отмыкнет, хучь до темени тутось стукайте.

– Почему? А ты, Джозеф, не можешь передать ей, кто я?

– Вот уж нет уж! Не по мне забота, не мне работа, – пробубнила голова и скрылась.

Снег зарядил густо. Я сжал дверную рукоять, намереваясь предпринять новую попытку, и тут во дворе у меня за спиною появился юноша в рубаше и с вилами на плече. Он окликнул меня, и следом за ним я миновал прачечную и затем мощный двор, где обнаружили угольный сарай, насос и голубятня, а в конце же концов прибыл в уютные теплые апартаменты, где меня принимали накануне. Комнату восхитительно озаряло громадное пламя в камине, где горели уголь, торф и поленья; а подле стола, накрытого к обильной трапезе, я не без удовольствия узрел «оспожу» – особу, о коей существовании прежде и не подозревал. Я поклонился и подождал, воображая, что она пригласит меня присесть. Она взглянула на меня и поудобнее откинулась на спинку кресла, после чего осталась бездвижна и безмолвна.

– Ну и погода! – отметил я. – Боюсь, госпожа Хитклифф, дверь пострадала от последствий лени вашей прислуги: уж как я старался, чтобы меня услышали.

Она и рта не раскрыла. Я взирал на нее – и она взирала: во всяком случае, глаза ее попрежнему устремлялись на меня холодно и равнодушно, отчего я все более смущался и ерзал.

– Сядьте, – пробурчал юноша. – Он скоро возвратится.

Я подчинился; затем гмыкнул и окликнул злодейскую Юнону, каковая при сей второй аудиенции снизошла легчайше двинуть самым кончиком хвоста, признавая факт нашего знакомства.

– Прекрасное животное! – вновь заговорил я. – А с малышами вы расстанетесь, мэм?

– Они не мои, – ответствовала любезная хозяйка с неприязнью, какая не под силу оказалась бы и самому Хитклиффу.

– А, так *это* ваши любимцы? – продолжал я, обернувшись к подушке в тени, где сгрудилось нечто похожее на кошек.

– Странные получились бы из них любимцы! – презрительно отметила она.

Увы, на подушке лежала куча дохлых кроликов. Я снова гмыкнул и перешел ближе к огню, повторив свое замечание относительно вечерней непогоды.

– Нечего было выходить из дома, – сказала она, поднялась и потянулась за двумя расписными жестянками на каминной полке.

Прежде она сидела, укрывшись от света; теперь же я отчетливо разглядел ее фигуру и лицо. Была она стройна и, похоже, едва оставила девичьи годы позади; восхитительное сложенье и утонченнейшее личико, кои мне выпадала радость узреть, – мелкие, очень правильные черты; локоны соломенного или, говоря точнее, золотистого оттенка свободно спускались на тонкую шею; а глаза, будь их взгляд полюбезнее, стали бы неотразимы; по счастью для моего впечатлительного сердца, единственный сантимент, что они излучали, колебался меж презрением и безысходностью, категорически для них противоестественными. До жестянок она еле доставала; я шагнул было к ней, желая поспешествовать, но она накинута на меня, точно скряга, коему предложили пособить в пересчете золота.

– Мне ваша помощь не нужна, – рявкнула она. – Сама справлюсь.

– Прошу меня извинить! – поспешно выпалил я.

– Вас звали к чаю? – спросила она, поверх опрятного черного платья завязав передник и замерев над чайником с ложкой сухой заварки.

– Я бы не отказался от чая, – ответил я.

– Вас звали? – повторила она.

– Нет, – сказал я, уже почти улыбаясь. – Но вы как раз можете меня позвать.

Она высыпала заварку в жестянку – туда же отправилась и ложка, – и в досаде уселась в кресло, морща лоб и выпячивая алую нижнюю губу, точно дитя, что вот-вот расплачется.

Тем временем юноша облачился в решительно поношенную куртку и, воздвигшись перед огнем, покосился на меня презрительно, словно между нами царила некая смертельная вражда, коя требовала отмщения. Я уже сомневался, слуга ли он в сем доме: наряд его и речь были равно грубы, совершенно лишены достоинств, присущих госпоже и господину Хитклифф; густые темные кудри нечесаны и торчали дыбом, борода густой медвежьей шерстью покрывала щеки, а руки потемнели, как у обыкновеннейшего батрака; и однако держался он непринужденно, почти надменно, и в обращении с хозяйкою не выказывал типического для домочадцев рвения. Не имея ясных резонов судить о его положении, я почел за лучшее странного его поведения не замечать; спустя же пять минут явление господина Хитклиффа отчасти вызволило меня из сих неловких обстоятельств.

– Как видите, сэр, я сдержал слово и пришел! – воскликнул я, изображая жовиальность. – И, боюсь, непогода заточила меня здесь еще на полчаса, если вы дадите мне приют под вашим кровом.

– Полчаса? – переспросил он, стряхивая снег с одежды. – Не понимаю, с чего вам заблагорассудилось гулять посреди снегопада. В наших болотах и заблудиться, знаете ли, недолго. В такие вечера люди подчас сбиваются с пути на этих пустошах, а погода, уверяю вас, в ближайшее время не переменится.

– Быть может, кто-нибудь из ваших людей проводит меня и до утра останется в Усаде... вы не могли бы выделить мне проводника?

– Нет, не мог бы.

– Вот оно как! Что ж, тогда я вынужден положиться на собственное чутье.

– Хмф!

– Ты чай-то заваришь? – спросил обладатель поношенной куртки, переводя свирепый взгляд с меня на молодую госпожу.

– И *он* тоже будет? – спросила она у Хитклиффа.

– Поторапливайся, а? – было ей ответом, и до того рыклым, что я вздрогнул. Тон, коим были произнесены сии слова, выдавал подлинно дурную натуру. Я уже не питал склонности почитать Хитклиффа за превосходного человека. По завершении стряпни он пригласил меня за стол репликой: «Ну-ка, сэр, придвиньте стул». И все мы, включая неотесанного юнца, собрались вокруг стола; пока мы управлялись с трапезой, царил суровая тишина.

Коль скоро я стал причиною сему ненастью, рассудил я, мне и надлежит приложить усилия к его рассеянию. Вряд ли они тут сидят в таком угрюмстве и безмолвии изо дня в день; и, сколь ни сварливы они, быть не может, чтобы эта общая хмурость была их повседневной личиною.

– Занятно, – приступил я в промежутке между опустошением одной чашки и получением другой, – занятно, как обычай меняет наши вкусы и представления: многие не в силах вообразить счастливого бытия в столь полном отдалении от мира, в коем живете вы, господин Хитклифф; и однако рискну предположить, что в окружении семейства, подле вашей обворожительной дамы, чей гений царит в доме вашем и сердце...

– Моей обворожительной дамы! – перебил он, одарив меня усмешкою почти дьявольской. – И кто же она, моя обворожительная дама?

– Я имею в виду вашу жену, госпожу Хитклифф.

– Ах да... вы, надо полагать, намекаете, что дух ее по сей день добрым ангелом витает здесь и бережет Громотевичную Гору, хоть сама она и покинула нас. Вы об этом?

Уразумев, что оплошал, я попытался исправить свой промах. Надо было сообразить, что разница в возрасте между этими людьми чересчур велика – едва ли они супруги. Одному лет сорок – это период умственного расцвета, когда редкий мужчина питает иллюзии о браке по любви с юной девою; подобные грезы годятся в утешенье нашим преклонным годам. Другой же, по видимости, не минуло и семнадцати.

И тут меня осенило: «Невежа, что сидит подле меня, хлебает чай из плошки и ломает хлеб немытыми руками, – вероятно, это он ее муж; несомненно, Хитклифф-младший. Вот что бывает с людьми, похороненными заживо: она бросилась в объятья мужлану, ибо попросту не ведала, что на свете встречаются личности и получше! Сколь прискорбно печальная история; мне следует остерегаться и не внушить ей сожалений о сделанном выборе». Может показаться, что сие последнее замечанье отдает тщеславием; отнюдь нет. Застольный сосед мой виделся мне почти омерзительным; а опыт подсказывал, что сам я в меру привлекателен.

– Госпожа Хитклифф – невестка мне, – подтвердив мое наитие, промолвил Хитклифф. И с этими словами обернулся к ней с гримасою на диво странной – с ненавистью, если, разумеется, не был наделен весьма своеобразными лицевыми мускулами, кои изъяснялись языком его души иначе, нежели у прочих людей.

– А, ну разумеется – теперь я понял: счастливый обладатель сей доброй феи – вы, – сказал я своему соседу.

Стало хуже: юнец побагровел и стиснул кулак, явно обдумывая атаку. Впрочем, он быстро взял себя в руки и усмирил душевную бурю, пробормотав в адрес моей персоны грубое ругательство, каковое я подчеркнуто пропустил мимо ушей.

– Не везет вам с догадками, сэр, – отметил хозяин дома. – Ни один из нас не имеет счастья обладать сей доброй феей; супруг ее скончался. Я сказал, что она невестка мне, – следовательно, она вышла за моего сына.

– А сей молодой человек...

– Мне не сын, уверяю вас.

Хитклифф снова улыбнулся, будто приписать ему отцовские права на грубияна – шутка чрезмерно смелого толка.

– Меня зовут Хэртон Эрншо, – прорычал юнец, – и советую вам отнестись с уважением к этому имени!

– Я вовсе не выказывал неуваженья, – отвечал я, про себя посмеявшись над тем, с каким достоинством он представился.

Он долго сверлил меня взглядом, и я предпочел отвести глаза, опасаясь, что рискую ответить ему затрепину либо расхохотаться в голос. Уже стало ясно, что в сем сладостном семейном кругу я бесспорно лишний. Воцарился крошечный упадок духа, каковой более чем перечеркнул радости физического комфорта, окружавшего меня; про себя я решил лишний раз еще подумать, прежде чем в третий раз ступлю под сии стропила.

Покончив с трапезой и не услышав за оной ни единого слова светской беседы, я подошел к окну и обозрел обстановку. Скорбная предстала мне картина: прежде времени спускалась темная ночь, а небо и холмы сливались в сплошной жестокий вихрь густого снегопада и ветра.

– Теперь, пожалуй, без проводника мне домой не добраться! – вырвалось у меня. – Дороги уже завалило, и даже не будь снега, я едва ли что-нибудь увижу хоть на шаг впереди.

– Хэртон, загони овец под навес. Их засыплет снегом, если на ночь останутся в овчарне; и доской заложь, – сказал Хитклифф.

– Как мне поступить? – продолжал я, досадуя все сильнее.

Ответа не последовало; оглядевшись, я увидел лишь Джозефа, что принес бадью варева для собак, и госпожу Хитклифф – та, склонившись к огню, забавлялась, поджигая связку спичек, что упали с каминной полки по возвращении туда чайницы. Освободившись от своей ноши, Джозеф критически оглядел гостиную и надтреснуто проскрипел:

– Ну се пшли на двор, а кой-кто тутось лодырит, сраму не зная, а то чогой и поплощее! Да токмо ты-т шушваль, хучь те кол на башке, за ум не возмёсси, в одну прямь те к дьяволу некошному на сковраду, вследно за мамашей твоейной!

На миг мне почудилось, будто сей образчик красноречия обращен ко мне; немало возмущившись, я шагнул к престарелому негоднику, вознамерившись выкинуть его за дверь пинком. Мне, впрочем, помешала своим ответом госпожа Хитклифф.

– Скандальный ты старый лицемер! – промолвила она. – А не боишься, когда дьявола поминаешь, что тебя вынесут вперед ногами? Поберегись и не гневи меня, а то попрошу чертей, чтоб унесли тебя в знак особого ко мне расположения! Ну-ка стой! И взгляни сюда! – продолжала она, сняв с полки толстую темную книгу. – Я покажу тебе, сколь многое я постигла в черной магии; скоро я это искусство одолею, и здесь станет чище. Рыжая корова-то неспроста околела, да и ревматизм твой – едва ли дар небес!

– Ах ты ведьма, ой, ведьма! – запричитал старик. – Избави нас, Господи, от лукавого!

– Нет, подлец! Это ты нечестивец – пошел вон, а то тебе не поздоровится! Я вас всех тут вылеплю из воска и глины! И первого, кто преступит черту, я... не скажу, что с ним сделаю... но ты увидишь! Пошел, долго я на тебя смотреть буду?!

Маленькая злюка стрельнула притворной злобою из глаз, а Джозеф, дрожа в непритворном ужасе, зашпешил прочь, на ходу бормоча молитвы и вскрикивая «ведьма». Я счел, что поведение ее объясняется безотрадным юмором, и теперь, когда мы остались одни, рискнул привлечь ее внимание к моим затруднительным обстоятельствам.

– Госпожа Хитклифф, – с жаром промолвил я, – простите, что утруждаю вас. Я беру на себя такую смелость, ибо уверен, что с подобным обликом вы можете обладать лишь добрым нравом. Укажите, будьте любезны, вехи, кои помогут мне отыскать путь домой; для меня добраться туда не проще, нежели вам до Лондона!

– Идите дорогой, которой пришли, – отвечала она, уютившись в кресле со свечой и открытой толстой книгой. – Совет краткий, но лучшего я дать не могу.

– И если вы узнаете, что мой хладный труп обнаружили в трясине или снежной яме, совесть не шепнет вам, что отчасти это ваша вина?

– Это еще почему? Я не могу вас проводить. Меня и до садовой ограды не пускают.

– *Вы!* Я бы ни за что не попросил вас ради меня ступить за порог в такой вечер! – вскричал я. – Нет, я прошу лишь рассказать мне, как идти, а не *показать*; или же уговорить господина Хитклиффа выделить мне проводника.

– А кого? Тут живет он, Эрншо, Цилла, Джозеф и я. Кого послать с вами?

– А батраков в хозяйстве нет?

– Нет; больше никого.

– Получается, я вынужден остаться здесь гостем на ночь.

– О том уговоритесь с хозяином дома. Я тут ни при чем.

– А это вам урок: нечего шастать по холмам, – сурово рявкнул Хитклифф из кухонных дверей. – Что до гостя на ночь, у меня помещений для гостей не имеется; если останетесь, придется вам делить постель с Хэртоном или Джозефом.

– Я могу переночевать здесь, в кресле, – сказал я.

– Ну уж нет! Чужак есть чужак, что богач, что бедняк; ни к чему, чтоб чужие бродили по дому безнадзорно, пока я сплю! – отвечал мне сей отвратительный грубиян.

Подобная обида истощила мое терпенье. В омерзении вскрикнув, я протиснулся мимо Хитклиффа на двор, второпях столкнувшись с Эрншо. Тьма стояла такая, что я не видел, куда идти; плутая, я расслышал новый образчик цивилизованного поведения, принятого в сем обиталище. Сначала юнец вроде бы решил со мною сдружиться.

– Я его провожу до парка, – сказал он.

– До врат преисподней ты его проводишь! – закричал его хозяин или кем уж он приходился юнцу. – А за лошадьми кто присмотрит?

– Жизнь человеческая – дело поважнее, чем на один вечер покинутые лошади; кто-то же должен пойти, – пробормотала госпожа Хитклифф, явив доброту, какой я от нее не ждал.

– А ты мне не указ! – огрызнулся Хэртон. – Коли он тебе так дорог, лучше помолчи.

– В таком случае надеюсь, что тебе станет являться его призрак; и надеюсь, господин Хитклифф не найдет другого жилья, пока Усад не обратится в руины, – резко ответила она.

– Слушайте, слушайте, вона их заклала! – пробубнил Джозеф, к которому как раз приближался я.

Он сидел неподалеку и доил коров при свете лампы; лампу я бесцеремонно подхватил, крикнул, что завтра пришло ее назад, и устремился к ближайшей калитке.

– Хозяй, хозяй, вон фонарь покрал! – завопил древний старец, бросившись за мною в погоню. – Эй, Зубатый! Сюда, псина! Волчек, держи его, держи!

Отворилась дверца, и двое мохнатых чудищ налетели на меня и повалили на землю, погасив лампу; хоровой гогот Хитклиффа и Хэртона довершили мою ярость и унижение. По счастью, зверюги выражали склонность скорее потягиваться, зевать и махать хвостами, нежели пожирать меня заживо; впрочем, бунта они бы не потерпели, и я принужден был лежать и ждать, пока их злобные хозяева соизволят меня выволить; лишившись шляпы, от гнева дрожа, я велел мерзавцам дать мне свободу – они пожалеют, если задержат меня еще хоть минутой дольше, – и присовокупил к этому невнятные угрозы расправы, кои бездонными глубинами злобы своей достойны были короля Лира.

Запал ажитации исторг обильное кровотечение у меня из носа; Хитклифф по-прежнему смеялся, а я по-прежнему негодовал. Уж не знаю, чем бы завершилась сия сцена, не найдись поблизости персоны, владевшей собой получше меня и великодушием превосходившей хозяйина дома. В конце концов пришла дебелая экономка Цилла и осведомилась, в чем причина подобного шума и гама. Она решила, что один из домашних поднял на меня руку, и, не осмеливаясь выступить против хозяина, напустилась на молодого негодника.

– Так-так-так, господин Эрншо, – закричала она, – чего ж вы на будущий-то раз удумаете? Убивать людей на самом пороге? Не место мне в ентом доме – да вы гляньте на бедняжку, он

же ж и не дышит почти что! Полноте, полноте, охлоните. Пойдемте, я все подлечу; ну тихо, не дергайтесь.

С этими словами она неожиданно окатила мне шею пинтой ледяной воды, а затем увела меня в кухню. Господин Хитклифф последовал за нами; привычная угрюмость мгновенно погасила его нечаянную вспышку веселья.

Я был крайне болен, и слаб, и мучился головокруженьем; а посему принужден был остаться под сей крышей. Господин Хитклифф велел Цилле дать мне стакан бренди и отбыл во внутренние покои; она же посочувствовала моему прискорбному затрудненью, исполнила хозяйское приказание и, слегка меня оживив, препроводила в постель.

Глава III

Впереди меня взбираясь по лестнице, она посоветовала спрятать свечу и не шуметь; мол, у хозяина ее чудные мысли насчет покоев, где она меня устроит, и в охотку он никого не пускает там ночевать. Я спросил почему. Не знаю, отвечала она; в дому-то она всего год-другой, а здесь столько диковинного творится, что раскумекать любопытства не хватит.

Я и сам пребывал в таком ошеломлении, что любопытства не хватало; заперев дверь, я огляделся в поисках кровати. Всей мебелировки – стул, комод и большой дубовый ящик с квадратными отверстиями сверху, точно окошки в экипаже. Приблизившись к сей конструкции, я заглянул внутрь и обнаружил, что предо мною необыкновенного сорта старомодный диван, весьма удобно обустроенный, дабы не требовалось выделять комнату в личное пользование отдельному члену семьи. Собственно говоря, из дивана того получалась каморка, а подоконник, обтянутый этим диваном, служил в каморке столом. Я отодвинул боковые панели, со свечою забрался внутрь, задвинул панели назад и тем спасся от бдительности Хитклиффа и всех прочих.

В углу на подоконнике, где я поместил свечу, грудю свалены были заплесневелые книги; краска же вся была исцарапана письменами. Впрочем, говорили они лишь одно – имя, всевозможными буквами, крупными и мелкими, «Кэтрин Эрншо», кое там и сям превращалось в «Кэтрин Хитклифф», а затем в «Кэтрин Линтон».

В вялой апатии прислонясь к окну, я складывал Кэтрин Эрншо... Хитклифф... Линтон, пока не стали слипаться глаза; они, однако, отдыхали всего каких-то пять минут, и тут буквы полыхнули во тьме белым, ослепительные, как призраки, – в воздухе закишели Кэтрин; встряхнувшись, дабы изгнать из поля зрения назойливое имя, я увидел, что фитиль свечи моей приклонился к древним томам, распространяя вокруг аромат поджаренного пергамента. Я потушил пожар; сильно мучаясь от холода и неотступной тошноты, сел и раскрыл на коленях пострадавший фолиант. Оный оказался Писанием, со скупым шрифтом, и чудовищно пахнул плесенью; на форзаце значилось: «Кэтрин Эрншо, ее книга», – и дата с четверть столетия ранее. Я закрыл том, взял другой, затем третий, пока не пролистал все. Библиотека у Кэтрин была отборная, а степень распада томов доказывала, что обладательница питала к ним живой интерес, хотя и не вполне законного свойства: едва ли нашлась бы одна глава, коей удалось избежать чернильных замечаний – или, по меньшей мере, подобия таковых, – сплошь покрывавших все пустоты, что оставил печатник. Местами – разрозненные фразы, местами же – обыкновенный дневник, писанный неловкой детской рукою. Вверху лишней страницы (и каким, вероятно, сокровищем была она сочтена, когда впервые явилась взору) я, к великому своему веселью, нашел блестящую карикатуру на друга моего Джозефа – набросок грубый, но выразительный. Во мне мгновенно вспыхнул интерес к безвестной Кэтрин, и я незамедлительно принялся разбирать ее поблекшую иероглифику.

«Ужасное воскресенье, – так начинался абзац ниже. – Как жаль, что папеньки нет. Хиндли – негодная ему замена, с Хитклиффом он обращается жестоко... мы с Х. намерены взбунтоваться... и нынче вечером предприняли первый шаг.

Весь день лило как из ведра; не смогли пойти в церковь, пришлось Джозефу собрать конгрегацию на чердаке; и пока Хиндли с женою грелись внизу возле уютного огня – и чем угодно занимались, только не читали Библию, слово даю, – Хитклиффу, мне и бедному батрачонку-пахарю велено было взять молитвенники и взойти на чердак; нас устроили в рядок на мешке с зерном, и мы все стонали, и дрожали, и надеялись, что Джозефу тоже зябко и он ради своего удобства прочтет гоимию покороче. Зря надеялись! Служба длилась ровно три часа, но братцу моему хватило нахальства спросить, увидев, как мы сходим в дом: “Что, уже закон-

чили?” Раньше нам позволялось играть воскресными вечерами, если мы не очень шумели, а теперь чуть хихикнешь – и отправляют по углам.

“Вы забываете, кто тут хозяин, – вот как говорит этот тиран. – Истреблю первого, кто выведет меня из себя! Я требую абсолютной тишины и соблюдения приличий! Эй, мальчуган! это ты сделал? Фрэнсис, дражайшая моя, пойдешь мимо – дерни его за волосы; я слышал, как он шелкнул пальцами”. Фрэнсис дернула его за волосы от души, а затем уселась к муженьку на колени, и оба они принялись, как младенчики, целоваться и нести всякую чушь не закрывая ртов – глупая беседа, стыдно слушать. Мы уютно, сколь позволяла обстановка, устроились под комодом. Я как раз сколола вместе передники и ими занавесила нас, но тут появляется Джозеф – он в конюшню ходил. Срывает мое рукоделье, надирает мне уши и каркает:

“Самого токмо схоронили, день Господень ще не свечерел, благовестие ще в слухалах у вас, а вы тутось удумали шалопайничать! Усовестились бы! сядьте, негодные вы дети! есь ведь добрые книги, почитайте; сядьте и о душе похлопочите!”

Промолвив все это, он заставил нас переместиться так, чтобы тусклые лучики из далекого камина освещали нам текст занудства, кое он нам всучил. Я не стерпела. Схватила засаленную книжку за корешок и закинула в собачню, и сказала, что добрую книжку ненавижу. Хитклифф пнул свою туда же. И тут разверзлись небеса!

“Хозяй Хиндли! – возопил наш капеллан. – Подить сюды, хозяй! Оспожа Кэти бложку отодрала ‘Шлему спасення’, а Хитклифф том один ‘Широки врата в погибель’² пяткой лягал! Чогой же вы им позволяйте-т! Батюшка-то им бы уж задал бы взбучку – да токмо нету таперча батюшки!”

Хиндли прибежал из своего прикаминного рая, одного из нас схватил за шиворот, другого за локоть и обоих впихнул в кухню; откуда, как клятвенно заверил нас Джозеф, “некошной” нас заберет как пить дать; получив такое утешение, мы разбрелись по углам ждать, когда “некошной” нанесет нам обещанный визит. Я достала эту книгу с полки и чернильницу, приоткрыла дверь в дом, чтоб свет был, и двадцать минут уже пишу; сообщник мой, однако, нетерпелив, предлагает умыкнуть плащ молочницы и, укрывшись им, сбежать на болота. Идея соблазнительная – и тогда старый хрыч, если войдет, поверит, пожалуй, что пророчество его сбылось – вряд ли под дождем нам будет холодней и мокрей, чем здесь».

* * *

Надо полагать, замысел свой Кэтрин воплотила, ибо следующая фраза имела касательство к иному предмету и наливалась слезами:

«И не думала, что Хиндли так меня доведет! – писала Кэтрин. – Уж как я плакала, голова до того болит, что на подушку не ляжешь, а я все не могу перестать. Бедный Хитклифф! Хиндли обозвал его побродягой, не разрешает ему ни сидеть, ни есть с нами и говорит, чтоб я с ним больше не играла, и грозитя выгнать его из дома, если мы ослушаемся. Винит папеньку (да как он смеет?), что давал Х. слишком много воли; и клянется, что поставит его на место...»

* * *

Я уже клевал носом над смутной страницей; взгляд мой скользнул с рукописных букв к печатным. Я увидел красное орнаментированное заглавие «Седмизды семьдесят³ и первый из семьдесят первого. Благочестивое рассуждение, зачтенное преподобным Иависом Брандер-

² Названия благочестивых трудов – цитата из Еф. 6:17 и аллюзия на Мф. 7:13 соответственно.

³ Аллюзия на Мф. 18:22.

хамом в церкви Гиммерденской Топи». И, в полудреме гадая, как именно Иавис Брандерхам понимает свой предмет, я опустился на постель и уснул. Увы мне! дурной чай и дурные нравы сыграли злую шутку! Какие еще резоны могли навлечь на меня столь ужасно проведенную ночь? Со времен, когда я впервые познал страдания, ни одна иная не идет с нею ни в какое сравнение.

Не успел я утратить понятие о том, что меня окружает, как уже начал грезить. Чудилось мне, что настало утро и я под водительством Джозефа двинулся в путь домой. Дорогу завалило снегом во многие ярды глубиною; мы барахтались в нем, и спутник мой неумолчно пенял мне за то, что я не взял посоха пилигрима: говорил, что без посоха мне в дом не войти, и хвастливо помавал тяжелой дубиной, каковую, если я верно понял, он за означенный посох и почитал. Вначале я счел нелепицей, что мне может потребоваться подобное орудие, дабы попасть в собственное жилище. Затем меня посетило озаренье. Я направляюсь не домой: мы идем послушать, как знаменитый Иавис Брандерхам читает из своего рассуждения «Седмиды семьдесят», притом либо Джозеф, либо проповедник, либо я виновны в «первом из семьдесят первого», а посему будет публично осужден и отлучен.

Мы приблизились к церкви. На прогулках я дважды или трижды ее миновал: стоит она в лощине меж двух холмов; лощина же располагается выше болота, коего торфяная влага великолепно, говорят, бальзамирует трупы, что туда помещены. Крыша у церкви сохранна; но поскольку священнику полагается лишь двадцать фунтов в год жалованья да хижина о две комнаты, грозящие стремительно обернуться одной, обязанностей пастора ни один священник на себя не взвалил, тем паче, что, как ныне выясняется, паства скорей уморит его голодом, нежели прибавит к жалованью хоть пенни из собственных карманов. Однако во сне моем к Иавису сошлась многолюдная и чуткая конгрегация; и он проповедовал – Боже правый! что это была за проповедь – преподобный поделил ее на *четыреста девяносто* частей, и каждая равна была обычному поученью с кафедры, и в каждой речь шла об отдельном грехе! Где уж он их все раскопал, сказать не могу. Библейское реченье он трактовал весьма своеобразно, и выходило у него, что брат его во Христе, греша, непременно должен грешить всякий раз новым грехом. И были те грехи прелюбопытнейшего свойства: диковинные проступки, кои прежде мне и в голову не приходили.

О, как истомился я! Как ерзал, и зевал, и забывался, и опоминался! Как я щипал и тыкал себя, и тер глаза, и вставал, и вновь садился, и толкал Джозефа, осведомляясь, когда же это *закончится!* Я обречен был выслушать всё целиком; в конце концов проповедник добрался до «Первого из семьдесят первого». В сей кульминационный миг меня посетило неожиданное вдохновение; оно побудило меня подняться и объявить Иависа Брандерхама грешником, свершившим проступок, кой прощать нет нужды ни одному христианину.

– Сэр, – вскричал я, – сидя неотлучно в сих четырех стенах, я стерпел и простил четыреста девяносто предметов вашего рассуждения. Седмиды семьдесят раз я хватался за шляпу и порывался отбыть – седмиды семьдесят раз вы абсурдным манером принуждали меня сесть на место. Четыреста девяносто первый переполнил чашу терпенья. Держите его, истерзанные друзья мои! Стащите его с кафедры, распылите его на атомы, дабы пределы эти больше не знали его!

– *Се, Человек!*⁴ – после гробового молчанья воскликнул Иавис, перегнувшись через подушку. – Седмиды семьдесят раз кривил ты лице свое, разверзая зев, – седмиды семьдесят раз я взывал к душе своей: «Узри! пред тобою слабость человечья; ее тоже можно простить!» Ныне же свершен первый из семьдесят первого. Братья мои, произведите над ним суд писанный. Честь сия – всем святым Его!⁵

⁴ Ин. 19:5.

⁵ Пс. 149:9.

С таким напутствием все собрание без изъятия, вздымая пилигримские посохи, разом ринулось на меня; я же, лишенный оружия обороны, вступил в драку с Джозефом, моим ближайшим и свирепейшим недругом, тщаься отнять посох у него. В человечесем столпотворении соударялись дубины; удары, что метили в меня, обрушивались на другие макушки. Вскоре уже вся церковь наполнилась стуками и ответными стуками; всяк поднял руку на ближнего своего; а Брандерхам, не желая остаться в стороне, изливал свое рвенье, оглушительно грохоча по деревянной кафедре, каковая клацала столь пронзительно, что, к невыразимому облегчению моему, наконец-то меня пробудила. И что же в действительности изображало столь необычайное светопреставление? Что сыграло роль Иависа в сей сумятице? Всего лишь еловая ветвь, что задевала оконный переплет под вой ветра и сухими шишками стучалась в стекло! Миг я в сомненьях прислушивался; а распознав возмутителя спокойствия, перевернулся, и задремал, и снова принялся грезить! И – возможно ли такое? – вышло еще неприятнее.

На сей раз я помнил, что лежу в дубовой каморке, и отчетливо слышал порывистый ветер и летящий снег; различал, как скребется в окно еловая ветвь, и верно определил причину шума; однако шум сей так меня сердил, что я вознамерился его унять, если это возможно; и как будто встал и взялся отворять створку. Крючок был припаян к скобе – обстоятельство, отмеченное мною наяву, но позабытое. «И все же я должен это прекратить!» – пробормотал я, кулаком пробив стекло и вытянув руку, дабы ухватить докучливую ветку; да только вместо ветки нащупал ледяные пальчики! Острый ужас ночного кошмара объял меня; я хотел было вырваться, но холодная ручка цеплялась за меня, а бесконечно печальный голос прорыдал:

– Впусти меня...пусти!

– Кто ты? – спросил я, не оставляя меж тем попыток высвободиться.

– Кэтрин Линтон, – с дрожью отвечал мне голос (отчего на ум мне пришла «Линтон»? На одну «Линтон» я прочел двадцать «Эрншо»). – Я вернулась домой; я заблудилась на болотах!

При этих словах я смутно различил детское личико, что глядело на меня из-за окна. Ужас придал мне жестокости; увидев, что вырваться проку нет, я потянул на себя и принялся резать существу запястье о кромку разбитого стекла, пока на постель не потекла кровь; и все равно оно кричало: «Впусти!» – и упрямо за меня цеплялось, а я чуть с ума не сходил от страха.

– Как я тебя впущу? – в конце концов спросил я. – Если хочешь, чтоб я тебяпустил, сначала освободи меня.

Пальчики разжались, я выдернул руку из дыры, поспешно завалил пробоину грудой книг и заткнул уши, дабы не внимать жалобным мольбам. Так я просидел, должно быть, с четверть часа; но едва отнял руки, вновь услышал все тот же скорбный стон!

– Сгинь! – закричал я. – Ни за что не впущу, хоть двадцать лет проси.

– Так уже и прошло двадцать лет, – проплакал голос. – Двадцать лет. Я двадцать лет скитаюсь!

И тут снаружи что-то тихонько заскреблось, и груда книг сдвинулась, точно ее толкнули. Я хотел было вскочить, но не смог шевельнуть ни рукой, ни ногою, а потому в умопомешательстве закричал. К моей неловкости, обнаружилось, что крик мой не был порождением грез: к двери покоев приблизились торопливые шаги, кто-то энергично ее толкнул, и в окошках над моей постелью замерцал свет. Я сел, еще содрогаясь и вытирая пот со лба; вошедший, замявшись в дверях, что-то бормотал себе под нос. В конце концов он спросил полупшепотом, очевидно не ожидая ответа:

– Есть кто-нибудь?

Я почел за лучшее явить свое присутствие, ибо узнал речь Хитклиффа и опасался, что, промолчи я, он продолжит разысканья. Движимый таким намерением, я повернулся и открыл боковую панель. Поступок мой произвел эффект, кой я еще не скоро позабуду.

Хитклифф стоял подле двери, в сорочке и брюках; свеча оплывала воском ему на пальцы, а лицо его побелело, как стена у него за спиною. Первый же скрип дубовой древесины сотряс

его электрическим разрядом; свеча выскользнула из пальцев, отлетела на несколько футов, и в крайней ажитации он еле смог ее поднять.

– Это всего только ваш гость, сэр, – окликнул я его, желая избавить от дальнейших унижительных изъятий трусости. – Я ненароком закричал во сне – мне привиделся страшный сон. Простите, что беспокоил.

– Ох, будь вы прокляты, господин Локвуд! Чтоб вас... – начал хозяин дома, отставив свечу на стул, ибо ровно держать ее в руках был не в состоянии. – И кто вас сюда привел? – продолжал он, ногтями впиваясь в ладони и скрежеща зубами, дабы унять судорогу челюстей. – Кто? Я подумываю сию же секунду выставить этого человека из дома!

– Ваша служанка Цилла, – отвечал я, спрыгнув на пол и поспешно натягивая одежду. – И я ни словом за нее не заступлюсь, господин Хитклифф; такое обращение она совершенно заслужила. Полагаю, ей пришла охота ценою моего покоя доказать лишний раз, что здесь водятся призраки. Итак, они здесь водятся – привидения и гоблины кишмя кишат! Поверьте, у вас имеются все резоны запирать сию комнату крепко-накрепко. Никто не скажет спасибо за ночлег в подобной спальне!

– Что вы несете? – спросил Хитклифф. – И что вы делаете? Ложитесь и до утра спите, раз уж вы все равно *здесь*; только, Бога ради! впредь избавьте меня от ужасных воплей; они простительны, только если вам тут режут глотку!

– Эта маленькая злодейка, должно быть, задушила бы меня, проберись она в окно! – отвечал я. – Вновь терпеть досаждение от ваших гостеприимных предков я не намерен. Преподобный Иавис Брандерхам не родня ли вам по материнской линии? А эта безобразница Кэтрин Линтон – или Эрншо, или как там она себя называет, – она, вероятно, эльфийский подменыш! маленькая жестокая душа! Сказала мне, что ходит по земле уж двадцать лет; и, нет сомнений, справедливо покарана за смертные прегрешенья!

Едва слова эти сорвались с моего языка, я припомнил, что в книге имени Хитклиффа и Кэтрин встречались рядом – связь, начисто ускользнувшая из памяти, пока я не проснулся. Я вспыхнул, смутившись своей опрометчивости, однако, никоим иным манером не признавая сего оскорбительного промаха, поспешно прибавил:

– Говоря по правде, сэр, ночью перед сном я... – Тут я вновь осекся; я хотел сказать «почитывал эти старые книги», но тогда обнаружилось бы, что я узнал их содержание, как печатное, так и рукописное; посему я поправился и продолжал: – ...читал имя на подоконнике. Однообразное занятие – я рассудил, что оно усыпит меня, подобно счету или...

– Да как вам *в голову* взбрело разговаривать так *со мной*! – с гневным жаром загрохотал Хитклифф. – Как... как вы смеете... в моем доме?! Боже правый! что он несет? да он безумец! – И Хитклифф в ярости ударил себя по лбу.

Я не знал, возмутиться ли мне такой манерой выраженья или объясниться до конца; он, однако, был столь сильно потрясен, что я сжалился и перешел к изложению моих грез; заявил, что прежде мне не доводилось слышать о «Кэтрин Линтон», однако я не раз прочел сие имя, и оно оставило след, каковой обрел плоть, едва я лишился власти над воображеньем. Я говорил, а Хитклифф мало-помалу отступал к убежищу постели; наконец сел, почти совершенно в ней скрывшись. По неровному и рваному его дыханию я, впрочем, догадался, что он тщится подавить наплыв сильнейших чувств. Не желая показать, что замечаю его внутреннюю бурю, я весьма шумно свершил утренний туалет, взглянул на часы и произнес рацею о продолжительности ночи:

– И трех еще нет! Я мог бы поклясться, что уже минуло шесть. Время здесь застывает; мы, должно быть, отравились на покой в восемь!

– Зимой всегда в девять; а встаем в четыре, – отвечал хозяин дома, подавив стон и, судя по движению тени, отбрасываемой его рукой, смахнув с глаз слезу. – Господин Локвуд, – прибавил

он, – вы можете перейти в мою спальню; спустившись так рано, вы станете только путаться под ногами, а из-за сыр-бора, кой вы тут так легкомысленно подняли, сон мой бежал к дьяволу.

– Да и мой, – отвечал я. – Погуляю по двору, пока не рассветет, а затем уйду; и не страшитесь, подобных вторжений с моей стороны больше не повторится. Я теперь вполне исцелен от желания искать радостей светского толка, в провинции и в городе равно. Человеку разумному надлежит довольствоваться собственным обществом.

– Упоительное общество! – буркнул Хитклифф. – Возьмите свечу и идите куда пожелаете. Я скоро к вам выйду. Но по двору не ходите – собаки спущены с цепи; и по дому – его сторожит Юнона, и... нет, вам остается лишь бродить по лестницам и коридорам. Однако ступайте! Через две минуты я приду.

Я покорился – во всяком случае, вышел из спальни; не зная же, куда ведут узкие пассажи, за дверь я остановился и невольно стал свидетелем суеверности моего домовладыки, коя, как ни странно, наглядно засвидетельствовала его трезвомыслие. Он поднялся с постели и рванул на себя оконную створку, разразившись меж тем неудержимыми страстными слезами.

– Войди! войди! – рыдал он. – Приди ко мне, Кэти. О, приди ко мне – *еще* разок! О, драгоценная моя! услышь меня на *сей* раз, Кэтрин, услышь меня наконец!

Призрак явил типически призрачное своеобразие – он вовсе не показался, лишь снег и ветер ворвались в окно, закружили, дотянувшись даже до меня, и погасили мою свечу.

Такая мука была во вспышке горя, сопровождавшей сии неистовые речи, что в сострадании своем я позабыл, сколь эти речи неразумны, и отступил, отчасти злясь, что подслушал, и досадуя, что пересказал свой нелепый кошмар, каковой и вызвал подобные терзанья, хотя причина оных и оставалась для меня непостижима. Я осторожно сошел ниже и очутился на кухне, где вновь зажег свечу от тесной кучки мерцающих углей. Вокруг не было ни души – лишь полосатый серый кот неслышно выбрался из золы и приветствовал меня ворчливым «мяу».

Две скамьи округлых очертаний почти целиком обнимали очаг; на одной растянулся я, на другую взобрался котофей. Оба мы подремывали в нашем убежище до вторжения пришлецов, а затем явился Джозеф: прошаркал вниз по деревянной лестнице, уходившей в потолочный люк – по видимости, к нему на чердак. Злобно зыркнув на крохотное пламя, что я вызвал к жизни меж прутьями решетки, Джозеф согнал кота с его насеста, устроился на его месте сам и принялся набивать табаком трехдюймовую трубку. Мое присутствие в его святилище он, очевидно, счел дерзостью, о коей вслух и высказаться постыдно; молча поднес трубку к губам, скрестил руки на груди и запыхтел. Я предоставил ему наслаждаться роскошью бестревожно; высосав из трубки последнее дымное колечко, он испустил наиглубочайший вздох, встал и отбыл важно, как и прибыл.

Затем в кухне раздались шаги упруге; на сей раз я открыл рот, дабы изречь «доброе утро», но снова закрыл, так и не вымолвив приветствия; ибо Хэртон Эрншо читал *sotto voce*⁶ свои утренние молитвы, чередой проклятий осыпая все, что попадалось ему под руку, пока он рылся в углу в поисках лопаты либо заступа, дабы разгрести сугробы. Он заглянул через спинку скамьи, раздул ноздри и обменявшись любезностями со мною пожелал не более, чем с моим сотоварищем котом. Из его деятельности я заключил, что выходить наружу разрешается, и, оставив свое жесткое ложе, шагнул было за юнцом. Тот заметил и черенком лопаты ткнул во внутреннюю дверь, невнятным звуком дав мне понять, что, раз уж я меняю местоположение, направиться мне следует туда.

Дверь открывалась в дом, где уже возились женщины: Цилла громадными мехами гнала пламя вверх по трубе; госпожа Хитклифф же, преклонив колена у очага, при свете огня читала. Рукою она прикрывала глаза от жара, совершенно, похоже, погрузилась в свое занятие и прерывалась, дабы разве только попенять служанке за то, что засыпала ее искрами, или отпихнуть

⁶ Вполголоса (*ит.*).

собаку, что временами слишком настойчиво тыкалась носом ей в лицо. К своему удивлению, здесь же я узрел и Хитклиффа. Он стоял у огня, ко мне спиной, и как раз завершал бурную сцену с бедняжкой Циллой, коя временами прерывала свои труды, дабы уголком передника утереть лоб и испустить негодующий вздох.

– А ты, ничемная... – взъярился он, когда я вошел; обернувшись к невестке, он употребил характеристику невинную, вроде утки или овцы, обыкновенно, однако, заменяемую на многоточье, вот так: ... – Опять взялась за свои фокусы! Остальные себе на хлеб зарабатывают – но ты живешь моей милостью! Убери этот свой вздор и найди чем заняться. Ты расплатишься со мною за эту напасть – за то, что вечно мельтешишь у меня перед глазами; слышишь меня, клятая ты девчонка?

– Я уберу свой вздор, поскольку вы можете меня заставить, если я воспротивлюсь, – отвечала юная леди, закрыла книгу и бросила ее на стул. – Но хоть язык себе сотрите проклятиями – делать я буду лишь то, что пожелаю!

Хитклифф занес руку, и говорившая, явно знакомая с ее тяжестью, безопасности ради отскочила подальше. Не желая забавляться зрелищем свары, я поспешно выступил вперед, будто хочу погреться у огня и знать не знаю, что прервал ссору. Всем хватило благопристойности прекратить дальнейшие боевые действия: Хитклифф, от греха подальше, спрятал кулаки в карманы; госпожа Хитклифф скривила губу, уселась на стул в дальнем углу и, держа данное слово, изображала статую до самого моего ухода. Каковой воспоследовал вскоре. Я отказался от приглашения позавтракать и при первом проблеске зари воспользовался случаем сбежать на свежий воздух, кой был теперь чист, и недвижим, и холоден, как неосязаемый лед.

Не успел я одолеть сад, домовладыка окликнул меня, велел обождать и предложил сопроводить через болота. И хорошо, ибо весь склон холма вздымался теперь сплошным белым океаном; приливы его и отливы не соотношались с земными подъемами и спусками: во всяком случае, многие ямы наполнились до краев, а целые гряды холмов, отвалы карьеров стерлись с карты, кою запечатлела в моем мозгу вчерашняя прогулка. У одной обочины я заметил череду вертикальных камней ярдах в шести-семи друг от друга, и тянулись они вдоль всей пустоши; их установили и вымазали известью, дабы они служили вехами во тьме, а при снегопадах, подобных нынешнему, очерчивали границы глубоких топей по сторонам надежной тропы; однако, помимо грязных пятнышек, что там и сям выглядывали из снега, вехи эти исчезли начисто, и спутнику моему нередко приходилось указывать мне, вправо или влево надлежит ступить, хотя мне казалось, будто я верно следую извилам дороги.

В пути мы не обменялись почти ни словом, а у ворот Скворечного Усада он остановился и сказал, что дальше я заплутать не смогу. Прощание наше ограничилось поспешным кивком, и затем я двинулся вперед, надеясь лишь на собственные силы, ибо ныне сторожка привратника необитаема. От ворот до дома две мили пути; по-моему, мне удалось их удвоить, заблудившись меж деревьев и по шею утонув в снегу – затруднение, кое оценить способны лишь те, кто его пережил. Как бы там ни было, вдоволь побродив, я вступил в дом, когда часы пробили двенадцать; таким образом, обычный путь из Громотевишной Горы я преодолевал по миле в час.

Беспременный мой атрибут и ее свита бросились мне навстречу, бурно восклицая, что совершенно уже поставили на мне крест: все сочли, что ночью я сгинул, и раздумывали, как теперь устроить поиски моих останков. Я велел им утомониться, раз уж они вновь узрели меня живым, и, до мозга костей оцепенелый, потащился наверх; там, переодевшись в сухое, я минут тридцать или сорок шагал из угла в угол, дабы вернуть жар в члены, а затем перешел в кабинет, ослабев, точно котенок, – до такой почти степени, что едва смог насладиться уютным огнем в камине и дымящимся кофе, кои служанка приготовила в рассуждении меня оживить.

Глава IV

Ах, человек – неверный флюгер! Я, кто полон был решимости совершенно оборвать всякую связь со светскою жизнью и благодарил судьбу свою за то, что наконец-то очутился там, где она практически невероятна, – я, несчастный малодушник, до заката боролся с унынием и одиночеством, но вынужден был сложить оружие; под предлогом допроса касательно потребностей нашего хозяйства я возжелал, чтобы госпожа Дин, принеся мне ужин, посидела со мною, пока я трапезничаю; я искренне надеялся, что она окажется типической сплетницей и беседой своею либо воскресит меня, либо усыпит.

– Вы немало времени провели в сем доме, – заговорил я. – Шестнадцать лет, если не ошибаюсь?

– Восемнадцать, сэр: я здесь поселилась, когда хозяйка вышла замуж; я ей прислуживала, а как она умерла, хозяин оставил меня в доме экономкой.

– Вот как.

Повисла пауза. Я уже опасался, что к сплетням она не склонна, разве только о собственных своих делах, каковые меня едва ли интересовали. Впрочем, нет: раздумья заволокли ее румяное лицо, и некоторое время она посидела, сложив кулаки на коленях, а затем выпалила:

– Эх, сильно все изменилось с тех пор!

– И в самом деле, – отметил я. – Вы, должно быть, повидали немало перемен?

– Да уж; и бед немало, – отвечала она.

«Ага! – подумал я. – Теперь переведем разговор на семейство моего домовладыки. Хорошее начало! И эта юная вдовица – любопытно было бы узнать ее историю. Местная ли она уроженка или, что вероятнее, чужеземка, кою угрюмые *indigenae*⁷ не почитают за свою». С каковым намерением я и спросил госпожу Дин, отчего Хитклифф сдает Скворечный Усад, сам предпочитая обитать в жилище и условиях несравненно худших.

– Он небогат? Ему недостает средств на содержание поместья? – осведомился я.

– Да богат он, сэр! – откликнулась она. – Бог его знает, сколько у него денег, и с каждым годом они все прирастают. Да-да, он богат, мог бы себе позволить дом и получше; но он ведь близко – совсем рядом; может, он бы и не прочь был переехать в Скворечный Усад, да только как услышал, что сыскался хороший жилец, не упустил нескольких лишних сотен. Уж не знаю, отчего люди такие жадные, когда у них на всем белом свете никогошеньки нету!

– У него же, мне представляется, был сын?

– Да, сын у него был – помер уже.

– А эта юная леди, госпожа Хитклифф – его вдова?

– Да.

– И откуда же она приехала?

– Ну как же, сэр, она дочь моего покойного хозяина; в девичестве звалась Кэтрин Линтон. Я ее, бедняжку, вырастила! Я уж так мечтала, чтоб господин Хитклифф поселился тут, – были бы мы снова вместе.

– Что?! Кэтрин Линтон?! – вскричал я в изумлении. Впрочем, поразмыслив, я пришел к выводу, что Кэтрин эта – не моя призрачная Кэтрин. – Выходит, – продолжал я, – предшественника моего звали Линтон.

– Так его и звали.

– А Эрншо – это кто? Этот Хэртон Эрншо, что живет с господином Хитклиффом? Они родня?

– Нет, он племянник покойной госпожи Линтон.

⁷ Местные (лат.).

– Кузен юной леди, значит?

– Да. И муж ее тоже приходился ей кузеном – один по матери, другой по отцу. Хитклифф взял за себя сестру господина Линтона.

– В Громотевичной Горе я видел над парадной дверью резьбу – там вырезано «Эрншо». Я так понимаю, род у них старый?

– Древний, сэр, и Хэртон – последний в роду, а юная госпожа Кэти – последняя из наших. Из Линтонов, то бишь. Вы бывали в Громотевичной Горе? Прошу прощения за такой вопрос, но не расскажете ли, как у нее дела?

– У госпожи Хитклифф? На вид весьма здорова и весьма красива; однако, мнится мне, не весьма счастлива.

– Ох батюшки, чему уж тут дивиться-то? А как вам хозяин?

– Он, госпожа Дин, человек довольно жесткий. Такой уж у него нрав, да?

– Жесткий, как пила, и твердый, как камень! Чем меньше с ним имеешь дел, тем оно и лучше.

– Он, должно быть, познал немало взлетов и падений в жизни, раз стал таким грубияном. А историю его вы знаете?

– Он у нас кукушонок, сэр, – я всю его подноготную знаю; не знаю только, где родился, кто родители и как попервоначалу денег раздобыл. А Хэртона выкинули из гнезда, как неоперившегося воробышка. Бедный парнишка один во всем нашем приходе не догадывается, как его вокруг пальца обвели.

– Ну-с, госпожа Дин, добрая женщина на вашем месте поведала бы мне о моих соседях; если я лягу сейчас, все равно не усну, так что будьте любезны, посидите и поговорите со мною часик.

– Ой, сэр, конечно! Я только рукоделие принесу и посижу с вами, сколько вам угодно. Однако вы простужены: я же видела, как вы дрожали. Надо бы вам горячей овсянкой подкрепиться.

И сия достойная женщина торопливо отбыла, а я присел у огня; голова моя горела, тело дрожало в ознобе; и более того, мозг мой и нервы разбережены были почти до оглушения. Посему терзало меня не столько неудобство, сколько опасенья (кои не отступили до сих пор), что события сего дня, а равно предыдущего приведут к серьезным последствиям. Госпожа Дин вскоре вернулась с миской каши и корзинкой рукоделия; водрузив оную миску на решетку над огнем, она уселась, откровенно довольная моей общительностью.

Прежде чем я поселилась здесь (начала она, не дожидаясь моих побуждений), я почти всегда жила в Громотевичной Горе, потому как моя матушка растила господина Хиндли Эрншо – это Хэртонов папенька, – а я обвыкла играть с детьми; и дела по дому мне поручали, и сено я сгребала, и на ферме околачивалась, ждала, когда кто-нибудь мне что-нибудь поручит. Как-то погожим летним утром – только урожай начали собирать, как сейчас помню, – господин Эрншо, старый хозяин, сошел вниз, одетый по-дорожному, растолковал Джозефу, что надобно сделать за день, а потом оборачивается к Хиндли, и к Кэти, и ко мне – я же с ними сидела, ела кашу, – и сыну своему говорит: «Ну, друг мой дорогой, я нынче отправляюсь в Ливерпуль, что тебе принести? Выбирай что хочешь, только маленькое – я туда и оттуда пойду пешком, шестьдесят миль в один конец, путь-то неблизкий!» Хиндли попросил скрипку, а потом старый господин Эрншо обратился к Кэти – той шести годков еще не минуло, а она уже наловчилась скакать на любой лошади из конюшни и попросила себе хлыст. И меня он тоже не забыл – доброе у него было сердце, хоть он порою и бывал суров. Обещал принести мне целый карман яблок и груш, поцеловал своих детей, распрощался и ушел.

Нам всем казалось, прошло сто лет – три дня его дома не было, – и маленькая Кэти все спрашивала, когда же он вернется. Госпожа Эрншо ждала его к ужину на третий вечер, час за часом все тянула, на стол не накрывала; но никаких не было признаков его возвращения,

и в конце концов дети устали бегать к воротам и его выглядывать. Потом стемнело; госпожа Эрншо отправила бы детей в постель, да только они грустно молили их не отсылать, а уже около одиннадцати щеколда на двери тихонько поднялась, и вошел хозяин. Бросился в кресло, смеясь и постанывая, всем велел на нем не вешаться, потому как он в дороге чуть Богу душу не отдал – ни за какие королевства земные он больше на эдакую прогулку не отправится.

«А под конец так перепугался, что чуть не помер! – прибавил он и развернул пальто, что держал в руках кулем. – Жена, ты глянь! В жизни своей так не мучился, но ты все ж прими это как Божий дар, хоть он и темен, будто дьявол его нам подсунул».

Мы все столпились вокруг, и я через голову юной госпожи Кэти рассмотрела грязного черноволосого оборвыша; не младенец уже, и говорить ему пора было, и ходить, и на лицо постарше Кэтрин будет; но когда его поставили на ножки, он лишь озираясь да снова и снова твердил какую-то чепуху, коей никто из нас понять не умел. Я испугалась, а госпожа Эрншо готова была выкинуть голодранца за дверь; аж взметнулась вся – да как ты додумался, мол, тащить в дом цыганского найденыша, когда нам своих мальцов кормить да беречь надобно? На что это дитя ему сдалось? Он не умом ли тронулся? Хозяин хотел было объясниться, но от усталости и впрямь был полуживой; посреди хозяйкиного нагоняя мне только и удалось разобрать историю о том, как хозяин увидел этого ребенка на улице в Ливерпуле, и был тот ребенок голодный, бездомный и все одно что немой, а хозяин его подобрал и стал искать, чье же это такое дитяtko. Ни одна душа, сказал он, ведать не ведала, чей это ребенок; у хозяина же подходили к концу и деньги, и время, а посему он решил, что лучше забрать дитя с собой, нежели зазря транжирить деньги в городе, потому как оставлять мальчонку в таком виде хозяин не желал ни за что на свете. Ну, долго ли, коротко ли, хозяйка поворчала да утомилась, а господин Эрншо велел мне умыть ребенка, дать ему чистой одежды и уложить спать с детьми.

Хиндли и Кэти слушали и слушали, пока все не помирились, а затем бросились рыться по отцовским карманам в поисках обещанных подарков. Хиндли было тогда четырнадцать годов, но он как вытащил свою бывшую скрипочку, кою в кармане пальто размолотило на куски, так мигом и заплакал вслух; а Кэти, узнав, что хозяин потерял ее хлыст, пока возился с оборвышем, показала остроумие: ухмыльнулась и плюнула в дурацкое существо, за свои старания заработав от отца подзатыльник, чтоб вела себя поприличнее. Оба наотрез отказались пустить подобрыша в свою постель или даже в спальню, а мне в голову ничего больше не пришло, и я его оставила на лестничной площадке – надеялась, что назавтра он испарится. Дитя прокрадось к комнате господина Эрншо – то ли ненароком, то ли голос услышало, – и тот, выходя, нашел его под дверью. Ну, провели допрос, разузнали, как оно там очутилось, мне пришлось сознаться, и за мою трусость и бесчеловечность меня отослали из дома.

Вот так Хитклифф и познакомился с семьей. Возвращаюсь я через пару дней (я ж не думала, что меня прогнали навсегда) – а его уже окрестили Хитклиффом: так звали хозяйского сына, во младенчестве помершего, и имя это ему с тех пор служит и за фамилию. С госпожой Кэти они стали не разлей вода, а вот Хиндли его возненавидел, да и я, сказать вам правду, тоже; мы бесстыдно изводили его и дразнили, потому как я-то была еще мала, не соображала, что несправедлива к нему, а хозяйка ни словом нас не одергивала, ежели видела, что мы к нему цепляемся.

Смурной он был и терпеливый; обвыкся, должно быть, с жестокостью-то; когда Хиндли бил его – и глазом не моргнет, ни слезинки не проронит, а когда я его щипала, он лишь ахал и распахивал глаза, будто сам ненароком поранился и никто тут не виноват. Старый Эрншо взъерепенился, как узнал, что его родной сын тиранит бедную, как он говорил, безотцовщину. Странно даже, до чего он прикипел к Хитклиффу, всякому слову его верил (хотя говорил-то Хитклифф очень мало и обыкновенно правду), ласкал его гораздо чаще, чем свою дочь – Кэти была слишком озорная и своенравная, в драгоценные любимицы ее не назначишь.

Как бы там ни было, с первых дней Хитклифф сеял в доме дурные чувства; когда же померла госпожа Эрншо – меньше двух годков миновало, – молодой хозяин приучился в отце своем видеть не друга, но тирана, а в ХитклиFFE – захватчика, что отнял у него, у Хиндли то бишь, и привилегии, и родительскую приязнь, и, угрюмясь от такого, он, то бишь Хиндли, озлобился. Попервоначалу-то я его жалела, а потом дети слегли с корью, я за ними ходила, взяла на себя женские заботы и жалеть Хиндли отохотилась. Хитклифф болел тяжело, и когда дела у него были совсем плохи, от своей постели меня не отпускал: думал, должно быть, что я к нему сильно добра, и не догадывался, что это меня заставили. Скажу, однако, вот что: ни у какой няньки на свете не бывало такого тихого ребенка. До того разительно он отличался от остальных детей, что я к нему помягчала. Кэти и братец ее изводили меня ужасно, а Хитклифф был кроток, как овечка, хоть и не потому, что нежен, а потому, что духом тверд.

Он поправился, а доктор сказал, что во многом это я постаралась, и похвалил меня за такую заботу. Я его похвалами гордилась, умилосердилась к тому, чьим посредством их заслужила, и так Хиндли потерял последнюю свою союзницу; однако обожания к Хитклиффу я в душе не находила и нередко удивлялась, что эдакого видел в нем хозяин, отчего так восторгался угрюмым мальчиком, который на моей памяти не отвечал на это мирволение ни единым знаком благодарности. С благодетелем своим он не был дерзок – попросту бесчувствен, хотя знал прекрасно, что завладел его сердцем целиком, и понимал, что стоит слово сказать – и весь дом пред ним склонится. Вот, помню, был случай: господин Эрншо купил пару молодых жеребцов на приходской ярмарке и отдал их мальчикам. Хитклифф взял того, что покрасивее, да только жеребец вскоре охромел, и Хитклифф, как это увидел, сказал Хиндли:

«Обменяемся лошадьми, мне мой жеребец не по нраву; а коли не согласишься, расскажу твоему отцу, как ты трижды избил меня на этой неделе, и руку ему покажу, а она в синяках вся до плеча. – (Хиндли высунул язык и закатил ему заушину.) – Сейчас же обменяемся, – не отступал Хитклифф, взбежав на крыльцо (дело происходило в конюшне). – У тебя выхода нет, а если я ему расскажу, как ты меня побил, тебя за это побьют с лихвой».

«Уйди от меня, пес!» – возопил Хиндли, грозя ему железной гирей, которой сено да картофель взвешивали.

«Только брось, – отвечал Хитклифф, не двинувшись с места, – и я ему расскажу, как ты бахвалился, что выставишь меня за дверь, едва отец помрет. Узнаем тогда – может, он тебя самого еще за дверь выставит».

Хиндли бросил гирю и попал Хитклиффу прямо в грудь, а тот упал, но мигом вскочил, хоть и шатко стоял теперь, задышался и весь побелел; кабы я не вмешалась, он бы тотчас пошел к хозяину, рассказал бы ему, кто и что с ним сделал, и тем отомстил бы сполна.

«Да забирай ты жеребца своего, цыган! – сказал тогда молодой Эрншо. – Чтоб ты на нем шею сломал, и будь ты проклят, грязный ты побродяга! Давай вымани у моего отца все, что есть у него, да только потом он увидит, какое ты сатанинское отродье. И получай – надеюсь, мой жеребец тебе голову расшибет!»

Хитклифф уже пошел отвязать коня и перевести в свое стойло; он как раз мимо крупы конского проходил, а Хиндли, договорив, сбил его с ног и, не глянув даже, сбывшись ли его надежды, кинулся прочь – только пятки засверкали. Удивительно было смотреть, как этот ребенок невозмутимо поднялся с земли и упрямо пошел доделывать, что задумал; он и седла переменил, и все прочее, присел на копну сена, переждал дурноту, что накатила после удара, а уж после пошел в дом. Я легко его уговорила свалить всю вину за синяки на жеребца; ему безразлично было, какие рассказывать сказки, коли он добился своего. И вообще, он так редко сетовал на подобные стычки – я даже уверилась, что он и вовсе не мстительный; сильно обманулась, конечно, как вы дальше узнаете.

Глава V

Время шло, и господин Эрншо стал сдавать. Прежде-то был он бодр и здоров, однако ж, когда силы негаданно иссякли, пришлось ему целыми днями сиднем сидеть у очага, и стал он от того страшно гневлив. Все-то ему было не по нраву; как заподозрит, что в доме властью его пренебрегают, с ним чуть родимчик не приключался. И особенно бывало такое, когда ему мстилось, будто любимца его попирают или угнетают; хозяин от ревности изводился, коли хоть слово дурное о нем слышал, – потому как, думается мне, забрал в голову, что, раз ему нравится Хитклифф, прочие все его ненавидят, только и ждут, как бы свинью ему подложить. Парнишке выходило от этого только хуже: те из нас, кто добрее, не хотели огорчать хозяина и мирволили его пристрастиям, а эдакое мирволение лишь напивало гордыню и черный нрав ребенка. И все-таки отчасти это было необходимо: дважды или трижды Хиндли выказывал ему презрение на глазах у отца, и старик лютовал – хватался за палку, желая сына ударить, и трясся в ярости от того, что не в силах.

В конце концов наш викарий (у нас был тогда викарий; перебивался он, давая уроки маленьким Линтонам и Эрншо да возделывая собственный клочок земли) посоветовал отправить молодого человека в колледж, и господин Эрншо согласился, хоть и с тяжелым сердцем, – сказал, мол, Хиндли ничтожество и не добьется благоденствия, пока тут баклуши бьет.

Я всей душою уповала, что теперь-то у нас наступит мир. Больно думать было, что хозяин пострадает по своей доброте. Мне вообразалось, будто сварливость его старческую да недуг накликали семейные неурядицы; и его разуменью это не противоречило – он весь прямо чах, сэр, честное слово. Мы бы все, впрочем, ладили неплохо, кабы не двое – юная госпожа Кэти да слуга Джозеф; вы с ним, думается, на ферме-то повидались. Не бывало да и нет, всего вероятней, на свете занудливее и лицемернее фарисея – начитался Библии и наотыскивал там себе чаяний, а ближним – неумолчных проклятий. Своим даром проповедовать да благочестиво рассуждать он умудрился шибко поразить господина Эрншо, и чем немощней был хозяин, тем весомей становился Джозеф. Беспощадно терзал господина Эрншо – мол, надо о душе подумать да детей воспитывать строже. Внушал хозяину, что Хиндли у нас негодяй, ворчал вечер за вечером, неустанно наговаривал на Хитклиффа и Кэтрин, но, мирволя хозяйской слабости, винил особенно его дочь.

Разумеется, эдаких детей на земле поискать и не сыщешь – Кэтрин всех нас выводила из терпенья по пятьдесят раз на дню, а то и чаще; с той минуты, как спускалась из спальни, до той минуты, как отправлялась почивать, ни минуты покоя не видели мы – вечно она шалила. Всегда веселая, язычок ни на миг не отдохнет – все-то она поет, смеется, еще и дразнит любого, кто не поет и не смеется с нею заодно. Необузданное она была дитя и озорное, зато во всем приходе нашем не сыскать было эдаких красивых глаз, нежной улыбки да легкой поступи; и притом, думается мне, зла она не желала: ежели когда и доведет до слез, потом обыкновенно зарыдает с тобою вместе и заставит тебя не реветь, а утешать ее. В ХитклиFFE она души не чаяла. Мы не умели придумать ей наказания хуже, нежели их разлучить; и однако ее из-за него ругали чаще, чем любого из нас. В играх она страх как любила изображать маленькую хозяйку; руки распускала и командовала нами; и мною тоже, только я не терпела, когда мною помыкают да оплеухи отвешивают, я ей так и сказала.

Тут надобно заметить, что господин Эрншо детских шуток не понимал, отпрысков всегда держал в строгости и был с ними серьезен; а Кэтрин не разумела, отчего отец, занедужив, непременно должен стать сварливее и вспыльчивее, нежели в расцвете сил. Вздорные его придирки будили в ней озорную склонность дразнить его сильнее: величайшее ее счастье – это когда мы все хором ее корим, а она смотрит в ответ с нахальным вызовом и за словом в карман не лезет, набожные проклятья Джозефа отражает насмешками, подзуживает меня и делает

именно то, что отец более всего не переносил: притворной своей дерзостью, кою он принимал за подлинную, забирает больше власти над Хитклиффом, нежели хозяин – своей добротою; *ее-то* мальчик слушался с полуслова, чего бы ни попросила, а *его* – только по собственному изволению. Весь день она могла вести себя хуже некуда, но порой к вечеру оттаивала и приходила мириться. «Нетушки, Кэти, – говорил ей старик. – Я тебя приветить не могу, ты хуже брата своего. Иди, дитя, помолись и покайся перед Господом. Вот уж не думал, не гадал, как мы с твоей матушкой пожалеем, что тебя воспитали!» Сперва она от таких слов плакала, а затем от постоянного отвержения ожесточилась и стала смеяться, коли я велела ей извиниться за проступки и вымолить прощение.

Но в конце концов настал час, когда земные горести господина Эрншо подошли к концу. Как-то ввечеру в октябре он тихо скончался в кресле у очага. По всему дому гулял ветер, ревел в дымоходе так, словно дикая буря разыгралась, и однако не было холодно, а мы все коротали время вместе – я вязала поодаль от очага, а Джозеф читал свою Библию за столом (в те-то времена прислуга, закончив работу, обыкновенно сидела в доме). Юная госпожа Кэти хворала и сидела тихо, прислонившись к отцовым коленям, а Хитклифф лежал на полу, положив голову на колени ей. Помню, хозяин, прежде чем задремать, погладил ее красивые волосы – возрадовался, что она такая кроткая, редкий ведь случай, – и сказал: «Отчего ты не можешь всегда быть хорошей девочкой, Кэти?» А она запрокинула к нему лицо, и засмеялась, и ответила: «Отчего ты не можешь всегда быть хорошим, папенька?» Но как увидела, что он опять рассердился, поцеловала ему руку и обещала убаюкать его колыбельной. И тихонько пела, пока пальцы его не выскользнули из ее руки, а голова не опустилась на грудь. Я тогда велела ей замолчать, тиш-ш, не шевелись – не дай бог разбудишь. Все мы просидели тихо как мышки аж полчаса, и дальше сидели бы тоже, да только Джозеф, дочитав главу, встал и объявил, что хозяина будить надобно – ему пора молитвы читать и в постель ложиться. Подошел, наклонился, окликнул хозяина по имени, коснулся плеча, но тот не шевельнулся; тогда Джозеф взял свечу и к нему пригляделся. Когда он отставил свечу, я заподозрила неладное, взяла детей за плечи и шепнула: «Бегите-ка наверх, и чтоб ни гу-гу, помолитесь нынче сами, у него тут кой-какие дела».

«Я только пожелаю папеньке доброй ночи, – сказала на это Кэтрин и, не успели мы ей помешать, рукою обвила его за шею. В тот же миг бедняжка и обнаружила, какую понесла утрату, – вскричала: – Ой, он умер, Хитклифф! он умер!» И оба душераздирающе зарыдали.

Я зарыдала вместе с ними громко и горько, но Джозеф осведомился, что это нам вздумалось – эдак суматошиться из-за святого на небесах. Велел мне надеть плащ и сбегать в Гиммертон за доктором и священником. Я еще гадала, на что оба они нам теперь-то сдались. Однако вышла под ветер и дождь и одного привела с собою назад – доктора; а другой сказал, что придет утром. Предоставила Джозефу объясняться, а сама побежала к детям; дверь у них стояла приотворена, и оба не легли, хотя было уже за полночь; но оба поунылись, и утешать их оказалось не надобно. Эти детские души исцеляли друг друга добрыми мыслями, до каких мне и не додуматься никогда; ни один священник на свете не живописал рай столь прекрасным, каким представал он в невинной их беседе, и я, слушая в слезах, поневоле мечтала, чтобы там нашли прибежище мы все.

Глава VI

Господин Хиндли возвратился домой на похороны и – вот уж мы диву дались, да и соседи взялись судачить направо и налево – привез с собою жену. Кто она была да где родилась, он нам так и не поведал; вероятно, у нее за душою не имелось ни денег, ни имени – иначе едва ли он скрыл бы свой брачный союз от родителя.

Сама по себе она бы дом не взбаламутила. Как переступила порог, всякий предмет, что попадался ей на глаза, восторгал ее, да и всякое обстоятельство, кроме разве что похоронных приготовлений и собрания скорбящих. Пока похороны налаживали, я думала, она слабенькая умом: убежала к себе, зазвала и меня, хотя мне пора было детей одевать, и сидела, дрожа и заламывая руки, все спрашивала: «Ушли уже? Они уже ушли?» Затем в истерике заговорила о том, как действует на нее черный цвет, и все вздрагивала, все тряслась, потом давай лить слезы, а когда я спросила, что это с ней такое стряслось, отвечала, что не знает, но ужас как боится умереть! Мне-то думалось, это вряд ли, с тем же успехом помру я. Была она довольно худая, но молоденькая, со свежим личиком, и глаза ее сверкали брильянтами. Я, конечно, заметила, что она, взобравшись по лестнице, шибко задыхалась; что от малейшего внезапного шума она вся трепетала, а порою мучительно закашливалась; я, однако, не знала, что предвещают эдакие симптомы, и сердобольничать не намеревалась. Мы тут, господин Локвуд, чужеземцев обыкновенно не привечаем, ежели они сами нас первые не приветят.

За три года в дальних краях молодой Эрншо немало переменился. Отощал, побледнел, говорил и одевался совсем иначе; и в первый же день, как вернулся, сказал мне и Джозефу, что нам отныне обитать положено в кухне, а дом предоставить ему. Вознамерился было застелить коврами и наклеить обоями лишнюю комнатенку, устроить там салон; но жена его радовалась белым полам, и громадному пылающему очагу, и оловянными блюдам, и горке с делфтским фарфором, и собачне, и что ноги можно размять там, где люди обыкновенно сидят, а посему господин Хиндли счел, что салон ради удобства его супружницы не понадобится, и от намеренья своего отказался.

Еще она возрадовалась, обнаружив, что среди новых знакомцев ей нашлась сестра, и болтала с Кэтрин, целовала ее, повсюду за ней бегала и заваливала ее подарками; попервоначалу. Любовь ее, однако, вскорости остыла, а когда жена принялась капризничать, Хиндли обернулся тираном. Словом-другим она обмолвилась о своей неприязни к Хитклиффу – и в Хиндли мигом вспылала прежняя ненависть к мальчику. Хиндли прогнал его от себя к слугам, лишил наставлений викария и велел работать в поле, да так, чтоб не отставал от всех прочих мальчишек на ферме.

Первое время Хитклифф свою опалу сносил неплохо, потому как Кэти обучала его тому, что учила сама, и работала да играла с ним в полях. Оба они обещались вырасти положительными дикарями; молодого хозяина ничуть не заботило, как они себя ведут и чем заняты, пока они не попадались ему на глаза. Он бы и не следил, ходят ли они в церковь по воскресеньям, да только Джозеф с викарием попрекали его нерадивостью, ежели дети там не появлялись; вот тогда он припоминал, что Хитклиффа надобно высечь, а Кэтрин – оставить без обеда или ужина. Но им не было отрадней забавы, чем с утра пораньше сбежать на пустоши и гулять там день-деньской, а над последующей карой они лишь насмеялись, вот и все. Викарий мог задавать Кэтрин сколько угодно глав выучить наизусть, Джозеф мог колотить Хитклиффа, пока рука не отнимется; эти двое забывали обо всем, едва встречались опять – во всяком случае, едва сочиняли новое озорство в рассуждении мести; не раз я слезы глотала, видя, как день ото дня они все сильнее безрассудничают, но ни звука не смела произнести, опасаясь лишиться той малой власти, коей еще обладала над этими сирыми созданиями. Как-то воскресным вечером вышло так, что их прогнали из гостиной за то, что шумели, или еще за какую мелкую провин-

ность, а я пошла звать их к ужину, но нигде не нашла. Мы обыскали весь дом сверху донизу, и двор, и конюшню; они как сквозь землю провалились; наконец Хиндли разгневался, велел нам запереть двери на засов и взял с нас слово, что ночью этих двоих никто не впустит. Все в доме улеглись, а я так испереживалась, что и лечь не могла, открыла окошко и высунулась послушать, хотя шел дождь; я решила, ежели вернутся, впустить их, невзирая на запрет. Спустя время я различила шаги на дороге и сквозь ворота разглядела мерцанье фонаря. Я накинула платок на голову и выбежала – боялась, как бы они стуком своим не разбудили господина Эрншо. За воротами стоял Хитклифф, и был он один; увидев такое, я перепугалась.

«А где госпожа Кэтрин? – поспешно спросила я. – С ней, надеюсь, не случилось несчастья?» «Она в Скворечном Усаде, – отвечал он, – и я бы тоже там заночевал, кабы им достало воспитания меня пригласить». «Вот ты доиграешься! – сказала я. – Ты ж не угомонишься, пока тебя не отправят на все четыре стороны подобиру-поздорову. Как вас занесло в Скворечный Усад?» «Дай я надену сухое и все тебе расскажу, Нелли», – произнес он. Я предостерегла его, чтоб не шумел и не будил хозяина, и пока он переодевался, а я ждала, когда можно будет погасить свечу, он продолжил: «Мы с Кэти убежали из прачечной побродить на воле, заметили свет в Усаде и подумали сходить, глянуть, как Линтоны проводят воскресные вечера. Тоже стоят по углам и дрожат, пока мать с отцом пьют, едят, поют и смеются, а жар камина обжигает им глаза? Ты как думаешь? Или слушают проповеди и наставленья слуги, а в наказание за неверный ответ учат целый список имен из Писанья?» «Мне думается, нет, – сказала я. – Они небось послушные дети и не заслуживают обращения, какое достается вам за дурные поступки». «Что за чепуха, Нелли, – сказал он, – не дури! Мы от Горы до самого парка мчались без остановки – Кэтрин в гонке побита была вчистую, потому что бежала босиком. Ты уж завтра поищи ее туфли в болоте. Мы пролезли сквозь разломанную изгородь, вслепую пробрались по тропинке и сели на клумбу под окном гостиной. Оттуда лился свет; ставней они не закрыли, а портьеры задержали только наполовину. Мы оба могли заглянуть внутрь, если встать на цокоть и уцепиться за подоконник, и увидели мы – ах! какая там красота – великолепная комната с малиновым ковром, и малиновым же покрыты столы и кресла, и чистый белый потолок с позолоченным бордюром, а посерединке висит водопад стеклянных капель на серебряных цепочках и свечечки мерцают. Старых господина и госпожи Линтон в гостиной не было – никого не было, только Эдгар и его сестра. Чем не повод для счастья? Да мы были бы на седьмом небе! А теперь угадай, чем занимались эти твои послушные дети? Изабелла – ей, кажется, одиннадцать, годом младше Кэтрин, – валялась на полу в дальнем углу и верещала, будто ведьмы ее раскаленными иглами тычут. Эдгар стоял у очага и молча плакал, а на столе сидела собачка – лапой трясла и скулила; собачку эту, как мы поняли из их взаимных укоров, они чуть не разорвали напополам. Что за идиоты! Вот у них какие забавы! драться из-за того, кто подержит на руках грудку теплой шерсти, а потом на два голоса рыдать, потому что, пособачившись из-за собачки, оба ее больше не хотят. Мы над этими избалованными созданиями расхохотались вслух; да мы их презирали! Вот ты можешь вообразить, чтобы я возжелал то, чего хочет Кэтрин? или что мы сами по себе и забавы наши – вопить, реветь и кататься по полу, и нас разделяет целая комната? Да я ни за что на свете не променяю свою жизнь здесь на жизнь Эдгара Линтона в Скворечном Усаде – пусть мне даже посулят в награду, что я скину Джозефа с самой высокой крыши или раскрашу фасад кровью Хиндли!»

«Тише, тише! – перебила я его. – Ты так и не рассказал, отчего Кэтрин осталась там».

«Говорю же, мы засмеялись, – ответил он. – Линтоны услышали и стрелю бросились к двери; наступила тишина, а затем раздались крики: “Ой, мамочка, мамочка! Ой, папочка! Ой, мамочка, скорей сюда! Ой, папочка, ой!” Они взаправду вот примерно такими словами и вопили. Мы стали рычать и кричать, чтоб они еще сильнее испугались, а потом прыгнули с цоколя, потому что кто-то уже поднимал засовы, и мы решили, что пора улепетывать. Я схватил Кэти за руку и потащил, но она вдруг упала. «Беги, Хитклифф, беги! – прошептала она. –

Они бульдога отпустили, и он меня держит!» Эта тварь вцепилась ей в лодыжку, Нелли; я слышал, как он мерзко хрюкает. Кэти не закричала – о нет! кричать – ниже ее достоинства, хоть ее подняла бы на рога бешеная корова. Зато закричал я; орал страшные проклятья, от которых отбросили бы копыта все твари в Божьем мире; а еще я схватил камень и стал совать псине в зубы, запихивал ей этот камень в глотку прямо изо всех сил. Тут наконец примчался зверский слуга с фонарем и давай вопить: “Держи его, Прохвост, держи!” Он, правда, по-другому запел, как увидел, что этот Прохвост творит. Ну, придушили псину и оттащили; она лиловый язычище вывалила из пасти на полфута, обвислые губы все в кровавых слюнях. Слуга поднял Кэти; ей было нехорошо; не от страха, конечно, а от боли. Он занес ее в дом, а я вошел следом, бормоча ругательства и клятвы отмщения. “Кого поймали, Роберт?” – окликнул Линтон из дверей. “Да вот Прохвост девочку словил, сэр, – ответил слуга, – и еще парнишку вот этого, – прибавил он, схватив меня, – негодяя отъявленного! Я так думаю, воры их хотели запустить в окно, чтоб двери открыли, когда все уснут, и нас тут всех за милую душу поубивать. А ты придержи свой грязный язык, вор! ты за такие штучки на виселицу отправишься. Господин Линтон, сэр, вы б ружье-то далеко не откладывали”. “Нет-нет, Роберт, – сказал этот старый болван. – Злодеи знали, что вчера я собирал ренту; думали, значит, по-умному меня подловить. Ну что ж, я им устрою теплый прием. Джон, пристегни-ка цепь. Дженни, дай Прохвосту воды. Явиться к мировому судье прямо в дом, да еще в день отдохновения! Никаких нет пределов их дерзости! Моя любезная Мэри, взгляни-ка! Не бойся, это просто мальчишка – но какое негодяйство у него в лице; ради блага нашей страны не лучше ли повесить его немедленно, пока натура его проявляется лишь в облике, а не в поступках?” Он подтащил меня прямо под люстру, а госпожа Линтон водрузила очки на нос и в ужасе воздела руки. Дети-бояки тоже подкрались поближе, и Изабелла прошепелявила: “Какой страшный! Папошка, отправь его в подпол. Он похож на шына того гадателя, что украл моего ручного фажана. Правда, Эдгар?”

Пока они меня рассматривали, Кэти очнулась, а услышав эту последнюю речь – засмеялась. Эдгар Линтон взгляделся в нее пристальнее, и ему хватило ума ее признать. Они, знаешь ли, видятся с нами в церкви, хотя так-то мы редко встречаемся. “Это что, юная госпожа Эрншо? – шепнул он матери. – И посмотрите, как Прохвост ее покусал! У нее вся нога в крови!”

“Какая еще юная госпожа Эрншо, что за вздор! – вскричала эта дамочка. – Чтоб юная госпожа Эрншо бегала по болотам с цыганом! И однако, любезный мой, дитя-то в трауре – ну разумеется, – и, возможно, охромело на всю жизнь!”

“Сколь преступное небрежение со стороны ее брата! – вознегодовал господин Линтон, переведя взгляд с меня на Кэтрин. – Со слов Шилдерса, – (это, господин Локвуд, викария нашего так звали), – я понимаю, что он их растит совершеннейшими дикарями. Но это-то кто? Где она взяла своего спутника? Ага! Я догадался. Полагаю, это странное приобретение, кое мой покойный сосед раздобыл в Ливерпуле, – ласкар, что ли, или американец, или испанский пария”.

“Как ни посмотри, нрав у мальчика злой, – отметила хозяйка дома, – и в приличном доме таким не место! Ты заметил, как он изъясняется, Линтон? И мои дети это слышали! Какой ужас!”

Тут я вновь стал изрыгать проклятья – не сердись, Нелли, – и Роберту велели меня увести. Я не желал уходить без Кэти; он выволок меня в сад, сунул мне в руки фонарь, заверил, что господину Эрншо все расскажут о моем поведении, велел топать прочь, не останавливаясь, и снова запер дверь. Подхват у портьеры в одном углу еще не распустили, и я вновь принялся шпионить; если б Кэтрин пожелала вернуться, а ее бы не выпустили, я бы разбил их громадные окна на миллион осколков. Кэти сидела себе тихонько на диване. Госпожа Линтон уже сняла с нее серый плащ молочницы – мы его позаимствовали на прогулку, – качала головой и, надо полагать, увещевала: Кэти – юная леди, с ней обращались не так, как со мною. Потом служанка

принесла теплой воды и помыла ей ноги, а господин Линтон намешал глинтвейна в бокале, а Изабелла вывалила ей на колени блюдо пирожных, а Эдгар стоял в сторонке разинув рот. Они высушили и расчесали ее прекрасные волосы, и дали ей огромные шлепанцы, и подвинули к огню поближе; и когда я уходил, она веселилась вовсю – делила угощение с маленькой собачкой и Прохвостом и щипала последнего за нос, пока он ел, разжигая искру жизни в пустых голубеньких глазках Линтонов – смутное отражение своего чарующего лица. Я видел, что они заморожены, как последние болваны; она бесконечно лучше их – лучше всех на земле, правда, Нелли?»

«Это еще не конец, – отвечала я, укрывая его и гася свечу. – Хитклифф, ты неисправим; господин Хиндли вынужден будет принять чрезвычайные меры, сам увидишь». Слова мои сбылись правдивее, нежели я того желала. От несчастного их приключения Эрншо рассвирепел. А на завтра господин Линтон примиренья ради навестил нас, угостил молодого хозяина нотацией – мол, на какой путь оный хозяин толкает свою семью, – и тому поневоле пришлось внимательно вокруг себя оглядеться. Пороть Хитклиффа не стали, но сказали, что ежели он перемолвится с юной госпожой Кэтрин еще хоть словом, его выставят за порог; а госпожа Эрншо обещалась золовку, когда та возвратится домой, взять в ежовые рукавицы, применяя хитроумие, а не силу: силой она бы ничегошеньки не добилась.





Глава VII

Кэтрин гостевала в Скворечном Усаде пять недель – до Рождества. К тому времени лодыжка ее совсем уже зажила, а манеры шибко выправились. Хозяйка часто золовку навещала и взялась перевоспитывать – обучала самоуважению через красивую одежду и лесть, кою та охотно слушала; говоря короче, вместо маленькой простоволосой дикарки, что врывается в дом и стискивает нас в объятьях до потери дыхания, с красивого черного пони сошла весьма величавая особа с темными локонами, что струились из-под касторовой шляпы с пером, и в длинном суконном пальто, кое ей пришлось, вплывая в дом, придержать обеими руками. Хиндли снял ее с лошади, в восторге вскричав: «Ну надо же, Кэти, какая ты красавица! Я тебя почти и не узнал – ты теперь настоящая леди. Изабелле Линтон до нее далеко, правда, Фрэнсис?» «У Изабеллы нет таких природных достоинств, – отвечала его жена, – вот только Кэти надо последить за собой, чтобы вновь не одичать. Эллен, поднеси госпоже Кэтрин ее вещи... Погоди, милочка, ты так растреплешь локоны, давай я развяжу тебе шляпу».

Я сняла с Кэтрин пальто, а под ним воссияли великолепное клетчатое шелковое платье, белые бриджи и блестящие туфли; и юная госпожа, хотя и весело заблистала глазами, когда поприветствовать ее прискакали собаки, едва посмела их коснуться, опасаясь, что они станут тереться о ее ослепительный наряд. Меня она нежно поцеловала: я пекла рождественский пирог, вся обсыпалась мукой, и обнимать меня было не с руки; а затем огляделась в поисках Хитклиффа. Господин и госпожа Эрншо в тревоге ждали их встречи, надеясь отчасти уразуметь, сколь резонно надеяться, что удастся разлучить друзей.

Сначала Хитклиффа никак не могли сыскать. Он и до отлучки Кэтрин жил беспечно и без опеки – и то же самое вдесятеро с ее отбытия. Ни одна живая душа, кроме меня, не оказывала любезности хоть обозвать его грязным мальчишкой и велеть раз в неделю помыться, а дети в такие годы сами редко ценят радости мыла и воды. Умолчим о его одежде, пережившей три месяца грязной да пыльной службы, и о нечесаных густых волосах – лицо и руки его тоже омрачены были ужасающе. Неудивительно, что, узрев, как в дом вопреки ожиданиям входит эдакая блистательная изысканная дама, а не его прежняя всклокоченная подруга, Хитклифф притаился за коником. «А Хитклиффа нет?» – спросила Кэти, стянув перчатки и обнажив пальцы, замечательно побелевшие от избытка безделья и недостатка солнца.

«Хитклифф, можешь выйти! – закричал господин Хиндли, упиваясь его замешательством и радуясь, что тот вынужден явиться на глаза столь отвратительным грязнулей. – Можешь выйти и поздороваться с госпожой Кэтрин, как все слуги».

Кэти, заметив своего друга в его убежище, кинулась с ним обниматься; за секунду поцеловала его в щеку раз семь или восемь, а затем перестала, отстранилась и расхохоталась: «Ой, какой ты весь черный и сердитый! и какой... какой смешной и чумазый! Но это потому, что я привыкла к Эдгару и Изабелле Линтонам. Что такое, Хитклифф, неужто ты меня позабыл?»

У нее имелись резоны усомниться: от стыда и гордости лицо его омрачилось вдвое, а сам он не двинулся с места.

«Пожми руки, Хитклифф, – снисходительно велел господин Эрншо, – на сей раз я тебе разрешаю».

«И не подумаю, – отвечал мальчик, наконец обретя дар речи. – Я не потерплю, чтоб надо мною насмехались. Я этого не вынесу!» – И он бы вырвался из круга столпившихся домочадцев, кабы юная госпожа Кэти не схватила его вновь.

«Я не хотела над тобой смеяться, – сказала она. – Не удержалась; Хитклифф, ну хотя бы руку мне пожми! Чего ты дуешься? Ты просто выглядел странно. Если умоешься и причешешься, будет хорошо; но ты такой грязный!»

Она в тревоге воззрилась на темные пальцы, что держала в своей руке, и на свое платье – побоялась, что от соприкосновения с его нарядом краше оно не станет.

«А чего ты меня трогала? – отвечал он, перехватив ее взгляд и отдернув руку. – Хочу быть чумазым – и останусь чумазым; я чумазым быть люблю и буду».

И он сломя голову ринулся из комнаты; хозяин с хозяйкой развеселились, а Кэтрин все-раз расстроилась: не понимала, отчего это он в ответ на ее слова так вспылит.

Изобразив камеристку нашей новоприбывшей, поставив пироги в печь и оживив дом и кухню жарким огнем в очаге, как и подобает в сочельник, я приготовилась сесть и в одиночку позабавиться исполнением рождественских гимнов; и пускай Джозеф твердит сколько влезет, что веселым напевам, какие люблю я, недалеко до заправдашных песен. Сам он удалился к себе, а господин и госпожа Эрншо занимали юную госпожу всевозможными прелестными безделицами, кои купили ей для молодых Линтонов, чтоб она отблагодарила их за доброту. Линтонов они пригласили назавтра в Громотевичную Гору, и приглашение было принято с единственным условием: госпожа Линтон умоляла, чтоб к дражайшим ее отпрыскам ни в коем разе не подпускали этого «невоспитанного сквернословящего мальчика».

В такой вот обстановке я одна и сидела. Обоняла густой аромат греющихся специй и любовалась блестящей кухонной утварью, и начищенными часами, увитыми остролистом, и серебряными кружками на подносе, что выстроились в ожидании горячего пряного эля за ужином, а более всего – безупречной чистотою натертого и тщательно выметенного пола, предмета особой моей заботы. Про себя я наградила надлежащими аплодисментами всякий кухонный предмет и затем припомнила, как старый Эрншо приходил в кухню, когда она вся была прибрана, и называл меня нахальницей, и совал мне шиллинг в подарок на Рождество; а после припомнила, как он привязан был к Хитклиффу, как боялся, что, едва самому ему придется отправиться в мир иной, Хитклиффа все позабросят; а после я своим чередом вообразила, каково бедному парню сейчас, и передумала петь, а вместо того расплакалась. Вскоре, правда, меня посетила мысль, что мудрей-то будет утолить хоть немножко его невзгоды, а не слезы над ними проливать, и посему я встала и вышла на двор искать Хитклиффа. Тот нашелся неподалеку: причесывал лоснящегося нового пони в конюшне да по обыкновенью кормил прочее зверье.

«Поторопись, Хитклифф! – сказала я. – В кухне так уютно, а Джозеф наверху сидит; давай скорей, я тебя приодену покрасивей, пока госпожа Кэти не вышла, и посидите с нею вдвоем у очага, и больше никого, поболтаете хорошенько перед сном».

Он себе трудился, ко мне и головы не повернул.

«Пойдем... ты идешь? – продолжала я. – Вам обоим причитается пирога по чуть-чуть; а тебе одеваться с полчаса».

Я прождала пять минут, но ответа не добилась и ушла. Кэтрин отужинала с братом и невесткой; мы с Джозефом встретились за нелюбезною трапезой, сдобренной укорами с одной стороны и дерзостями – с другой. Пирог его и сыр всю ночь пролежали на столе – для фей. Проработать он умудрился аж до девяти вечера, а затем, бесприветен и безмолвен, прошествовал к себе в спальню. Кэти засиделась, ей для завтрашнего приема новых друзей надобно было много чего; разок она заглянула в кухню поговорить со старым своим другом, но того не было; она успела только спросить, что это с ним приключилось, да и была такова. Поутру он поднялся рано; а поскольку на дворе-то праздник был, угрюмством своим он поделился лишь с пустошами и не появлялся в доме, пока все семейство не отбыло в церковь. Воздержанье в еде и раздумья как будто его ободрили. Некоторое время он терся подле меня, собрался наконец с духом и выпалил: «Нелли, сделай, чтоб я стал приличный; я буду слушаться».

«И давно пора, Хитклифф, – сказала я. – Ты ужасно огорчил Кэтрин; она небось жалеет уже, что домой возвратилась! Ты ей как будто позавидовал, что ее ценят выше тебя».

Сужденье о том, что он *завидует* Кэтрин, оказалось непостижимо для него, но вот сужденье о том, что Кэтрин он огорчил, Хитклифф понял неплохо.

«Она сказала, что огорчилась?» – спросил он очень серьезно.

«Она заплакала, когда я сказала ей нынче утром, что ты опять ушел».

«Ну а вечор плакал я, – возразил он, – и у меня-то резонов было побольше».

«Да уж; у тебя имелись резоны отправиться в постель с гордым сердцем и пустым желудком, – сказала я. – Гордецы лишь умножают себе печальные скорби. Но раз уж тебе за свой гонор стыдно, не забудь попросить прощенья, когда она вернется. Подойди к ней, предложи ее поцеловать и скажи... ну, ты лучше знаешь, что сказать; только говори от сердца, а не так, будто она чужачкой обернулась, как надела красивое платье. Мне-то обед стряпать пора, но так и быть, уделю тебе время, наряжу, чтоб подле тебя Эдгар Линтон смотрелся дитятком неразумным; да он и есть подле тебя дитятко. Ты его моложе, но я об заклад побьюсь: ты и выше его, и в плечах шире вдвое; ты его с ног собьешь – он глазом моргнуть не успеет; ты сам-то разве не чуешь?»

Лицо Хитклиффа на миг прояснилось; но опять запасмурело, и он вздохнул:

«Да я, Нелли, хоть двадцать раз его с ног собою – он от того не станет меньше красив, а я больше. Вот бы и мне светлые волосы и белую кожу, и одеваться хорошо, и вести себя, и стать таким же богатым!»

«И на каждом шагу звать мамочку на помощь, – подхватила я, – и осиновым листом трястись, как деревенский мальчишка кулак на тебя подымет, и день-деньской из дому носа не казать, потому как дождик пролился. Да не унывай ты, Хитклифф! Подойди к зеркалу, я тебе покажу, о чем тебе надобно мечтать. Видишь две морщинки на переносице? и густые эти брови, что не воздеваются дугою, а прогибаются посередке? и этих черных зверьков, что зарылись глубоко-глубоко, никогда окошек своих не распахивают храбро, а таятся, мерцают из-под них, как лазутчики дьяволы? Вот о чем мечтай, вот чему учись: разглаживать эти сумрачные морщинки, честно поднимать веки, превращать зверьков в уверенных невинных ангелов, кои ни подозрений, ни сомнений не питают и всегда видят друзей, коль не уверены, что пред ними враги. Нечего смотреть злобной дворянкой, что на сладкое ждет лишь пинков, однако ж за страданья свои ненавидит весь мир да и того, кто пинает».

«Ты по-другому скажи: мечтай, Хитклифф, чтоб у тебя были большие голубые глаза и гладкий лоб, как у Эдгара Линтона, – ответил он. – Я и мечтаю – что не поможет мне их заполучить».

«От доброго сердца и лицо станет красивым, деточка, – продолжала я, – пусть сам ты и черен как сажа; а от сердца злого самое прелестное личико изуродуется, и даже того хуже. Мы с тобою закончили и умываться, и причесываться, и дуться – ну, скажи-ка мне, разве ты не красавец? Красавец, я тебе и сама скажу. Настоящий принц переодетый. Кто его знает – может, папенька твой был императором Китая, а матушка – индийской королевой, и оба на недельный свой доход запросто выкупили бы и Громотевичную Гору, и Скворечный Усад одним махом? А тебя похитили коварные моряки и привезли в Англию. Я б на твоём месте воображала себе высокое происхождение; и помыслы эти придавали бы мне и смелости, и достоинства, и гнет низкого фермера был бы мне нипочем!»

Так я чирикала и щебетала, Хитклифф постепенно перестал хмуриться и стал весьма пригож, но беседу нашу внезапно прервал грохот, что раздался на дороге и въехал во двор. Хитклифф кинулся к окну, я к двери, и мы как раз успели увидеть, как из фамильного экипажа выступают двое Линтонов, закутанные в плащи да меха, а семейство Эрншо слезает с лошадей: зимой они частенько ездили в церковь верхом. Кэтрин взяла детей за руки, ввела в дом, усадила у огня, и вскорости побледневшие их лица зарумянились.

Я посоветовала своему компаньону поспешить и явить гостям дружелюбие, и он охотно послушался; да вот только не свезло – едва он открыл кухонную дверь с одной стороны, Хиндли

открыл ее же с другой. Они столкнулись, и хозяин раздосадовался, увидев, до чего Хитклифф чистый и веселый, а может, хотел сдержать слово, данное госпоже Линтон, и посему резко пихнул Хитклиффа назад и сердито велел Джозефу «не пускать мальчонку в гостиную – отошли его на чердак, пока мы не отобедали. Его на минуту с ними оставишь – так он пальцами залезет в пироги и станет фрукты оттуда таскать».

«Нет, сэр, – не сдержалась я, – он ничего не тронет, что вы; и, думается мне, ему, как и нам, нынче положена своя доля угощений».

«Он от меня свою долю моего кулака получит, если я его дотемна внизу увижу, – закричал Хиндли. – Пошел прочь, мерзавец! Это еще что такое? Ты у нас фатом заделался? погоди, я тебя за красивенькие локоны-то оттреплю – они у тебя мигом еще отрастут!»

«Да они и так уже длинные, – отметил хозяин Линтон, заглянув в дверь. – И как у него голова не болит? У него же надо лбом целая грива лошадиная!»

Наблюдением своим он вовсе не желал никого оскорбить; однако вспыльчивая натура Хитклиффа не стерпела эдакой дерзости от человека, коего он уже тогда ненавидел как соперника. Хитклифф схватил соусницу с горячим яблочным пюре (первое, что подвернулось ему под руку) и выплеснул ее говорившему прямо в лицо и шею; тот горестно заголосил, и на крик прибежали Изабелла и Кэтрин. Господин Эрншо тотчас схватил преступника и отволок в спальню, где, дабы остудить страсти, несомненно, применил к нему жестокие меры исправленья, поскольку возвратился отдуваясь и весь красный. Я взяла кухонное полотенце и довольно злобно оттерла Эдгару нос и рот – а не надо было ему вмешиваться. Сестра его заплакала, что хочет домой, а Кэти стояла столбом, в замешательстве краснея за всех.

«Нечего было с ним разговаривать! – усовестила она хозяина Линтона. – Он в дурном расположении духа, и ты испортил весь праздник, а его теперь высекут – я ненавижу, когда его секут! Я уже и пообедать не могу. Эдгар, вот зачем ты с ним заговорил?»

«Я не говорил, – прорыдал юнец, увернулся от моих рук и завершил умывание батистовым платочком. – Я мамочке обещал, что ни словечка ему не скажу, – я и не сказал».

«Ну и не реви, – презрительно сказала Кэтрин, – тебя ж не убили. И больше не безобразничай; брат идет... тихо! Цыц, Изабелла! Тебя вообще пальцем не тронули».

«Ну полноте, дети, полноте – садитесь! – ворвавшись в гостиную, вскричал Хиндли. – Я с этим грубияном славно размялся. В следующий раз, господин Эдгар, решайте дело кулаками – аппетит нагуляете!»

При виде ароматных яств к небольшому собранию вернулось присутствие духа. Все проголодались после поездки, и утешиться им не составило труда, ибо никто взаправду и не пострадал. Господин Эрншо каждого оделил обильно, а госпожа развлекала оживленной беседою. Я стояла позади нее и с болью наблюдала, как Кэтрин, чьи глаза оставались сухи, а манера равнодушна, взялась резать гусиное крылышко у себя на тарелке. «Бесчувственное дитя, – думала я, – с какой легкостью она отмахнулась от невзгод прежнего своего друга по играм. Я и не подозревала, до чего она себялюбива». Она поднесла вилку к губам, затем опустила вновь – щеки ее вспыхнули, и по ним полились слезы. Вилку она уронила на пол и поспешно нырнула под скатерть, дабы скрыть нахлынувшие чувства. Я недолго упрекала ее в бесчувственности, ибо уразумела, что она весь день терзается в чистилище и страдает, ища возможности остаться одной или навестить Хитклиффа, коего хозяин посадил под замок; как я выяснила, она тщилась устроить другу его личный пир.

Вечеру у нас были танцы. Кэти умоляла выпустить Хитклиффа на волю, потому как Изабелле Линтон не досталось партнера, но мольбы ее пропали втуне, а недостачу положили восполнить мне. В возбуждении наших плясок сумрак весь рассеялся; затем радость приумножилась с прибытием музыкантов из Гиммертона, числом пятнадцать человек: труба, тромбон, кларнеты, фаготы, валторны и контрабас, а также и певцы. Каждое Рождество они обходят все уважаемые дома и за то получают плату, а мы почитаем за наслаждение их послушать. Когда

спеты были, как заведено, гимны, мы попросили их перейти к таким и эдаким песням. Госпожа Эрншо любила музыку, так что наслушались мы вдоволь.

Кэтрин тоже музыку любила, но сказала, что с вершины лестницы слышится всего красивей, и ускользнула во тьму; а я за ней. Народу было битком, внизу дверь затворили, и никто нашего отсутствия не заметил. На площадке Кэтрин не остановилась, взобралась выше, к чердаку, где заперли Хитклиффа, и окликнула его. Попервоначально он упрямылся и отвечать не желал; но и она упорствовала и в конце концов склонила его к беседе через доски. Я оставила бедняжек спокойно совещаться; затем увеселенья подошли к концу, певцы захотели испить чего-нибудь, и я вновь отправилась наверх предупредить Кэтрин. Под дверью я ее не нашла; голос ее раздавался изнутри. Эта мартышка прокралась мимо окна одного чердака, по крыше, залезла в окно другого, и невероятного труда стоило мне выманить ее наружу. Вышла она вместе с Хитклиффом и потребовала, чтоб я отвела его в кухню, раз уж мой сотоварищ Джозеф все одно ушел к соседям, дабы не слышать нашего, как он изволил выразиться, «дьявольского псалмопения». Я сказала, что никоим образом не желаю споспешествовать их проделкам, но, раз узник крошки во рту не держал со вчерашнего обеда, в сей один-единственный раз я закрою глаза на то, что они обморочили господина Хиндли. Хитклифф спустился; я поставила ему табурет у огня и принесла кучу вкусных угощений; но ему нездоровилось, он почти ничего не съел, а всем моим потугам его развеселить супротивничал. Локтями упершись в колени и сложив подбородок в ладони, он погрузился в безмолвные думы. На мой вопрос, каков предмет его помыслов, он серьезно отвечал: «Я вот думаю, как отплачу Хиндли. Я могу и подождать сколько угодно, только бы в конце отплатить. Надеюсь, он прежде того не умрет!»

«Постыдился бы, Хитклифф! – сказала я. – Злодеев наказывает Бог; а нам надобно учиться прощать».

«Бог такого удовлетворенья не получит, как я, – возразил он. – Мне бы только способ получше придумать! Оставь меня, и я все спланирую; пока думаю, мне не больно».

Впрочем, господин Локвуд, я забываю, что истории мои не могут вас развлечь. Самой досадно, что вздумала болтать без умолку; а у вас и овсянка уже остыла, и сами вы носом клюете! Ведь могла же рассказать про Хитклиффа в двух словах – вам большего и знать не надобно.

* * *

И вот таким манером прервав свои речи, экономка поднялась и отложила свое шитье; я же не в силах был отодвинуться от камина и носом отнюдь не клевал.

– Сидите смирно, госпожа Дин! – вскричал я. – Побудьте со мною еще полчаса. Вы верно поступаете, рассказывая свою историю неторопливо. Такой метод я и люблю; и завершить вашу повесть надлежит так же. Более или менее все персонажи, коих вы упомянули, меня интересуют.

– Часы уж пробили одиннадцать, сэр.

– Сие несущественно – я привык не ложиться подолгу. Час или два – довольно рано для человека, что валяется в постели до десяти.

– А вы не валяйтесь до десяти в постели. Утро на убыль идет задолго до десяти. Ежели к десяти утра полдня не прожил, рискуешь и другую половину упустить.

– И тем не менее, госпожа Дин, вернитесь в кресло, ибо завтра, согласно моим намерениям, ночь моя продлится за полдень. Я предвижу у себя по меньшей мере стойкую простуду.

– Надеюсь, эдак не случится, сэр. Ну, позвольте тогда перескочить года три; за это время госпожа Эрншо...

– Нет-нет, ничего подобного я не позволю! Знакомо ли вам настроение ума, когда, сидя в одиночестве и глядя, как кошка вылизывает котенка на ковре, смотришь до того пристально, что всерьез досадуешь, если она пренебрежет одним его ухом?

– Настроение, думается мне, зовется крайней ленью.

– Напротив, утомительной живостью. Таково ныне мое настроение; а посему рассказывайте в подробностях. Полагаю, местные обитатели пред горожанами обладают тем же достоинством, коим обладает паук из подземелья в сравнении с пауком в деревенском домике для обитателей того и другого соответственно; и однако обострение увлеченности объясняется не только чувствами стороннего соглядатая. Здесь *в самом деле* живут серьезнее, сильнее погружены в себя, меньше растрачиваются на неглубокое, переменчивое и легкомысленное, на поверхностное. Мне представляется, здесь почти возможна любовь жизни; а я непреклонно отказывался верить в любовь дольше года. Первое состояние напоминает голодного человека пред одним-единственным блюдом, на коем он может сосредоточить свои аппетиты, тем самым воздав ему должное; другое же – все равно что подвести человека к столу, накрытому французскими поварами: вероятно, из всей совокупности блюд он извлечет не меньше наслаждения, но в памяти его о наслаждении всякий элемент останется лишь мельчайшим атомом.

– Ну что вы, мы здесь такие же, как везде, коли узнать нас поближе, – возразила госпожа Дин, моей рацеей слегка озадаченная.

– Прошу меня извинить, – отвечал я. – Вы, мой добрый друг, – яркое опровержение сего постулата. Минувя немногочисленные образчики местного говора, каковые значенья не имеют, вы не выказываете манер, кои я привычен полагать характерными для вашего сословья. Я убежден, что размышленья ваши гораздо обширнее, нежели у большинства слуг. Вы склонны воспитывать в себе талант к раздумьям за неимением случая растратить жизнь свою на глупые пустяки.

Госпожа Дин рассмеялась.

– Я себя, разумеется, почитаю особой уравновешенной и разумной, – сказала она, – и не вполне потому, что живу посередь холмов и из года в год вижу одни и те же лица да поступки; но воспитание мне досталось строгое, и оно научило меня мудрости; а кроме того, господин Локвуд, я прочла столько, что вам и не снилось. В этой библиотеке вы не найдете ни единой книги, куда я бы не заглянула и откуда не извлекла бы чего-нибудь, помимо вон тех полок на греческом да латыни да вон той на французском; однако их я друг от друга отличаю, а большего от дочери бедняка и ждать нельзя. Но, раз мне предстоит продолжить историю в духе подлинной сплетни, лучше поторопиться; я не стану перескакивать через три года, мне довольно перейти к следующему лету – лету одна тысяча семьсот семьдесят восьмого, почти двадцать три года назад.

Глава VIII

Погожим июньским утром родился на свет первый мой чудный питомец и последний росток от древней ветви Эрншо. Мы на дальнем поле ворошили сено, и тут видим – девчонка, что обычно приносила нам завтрак, часом раньше назначенного мчится через луг и по тропинке, на бегу клича меня.

«Ой, такой прекрасный дитятка! – еле вымолвила она. – Не нарождалось еще эдакого красивого мальчика! Но доктор говорит, хозяйка не жилища: чахотка, говорит, у ей, и уж который месяц. Я слыхала, как он господину Хиндли сказал: ее-де тута больше ничего не держит – помрет таперча еще прежде, чем зима наступит. Иди домой быстрее. Будешь дитятку кормить, Нелли, сахаром да молоком, и нянкать его днем и ночью. Вот бы мне на твое место – дитятка будет твой, как хозяйка помрет!»

«Она что, правда так больна?» – спросила я, отбросив грабли и подвязывая чепец.

«Видать, сильно занедужила; но держится молодцом, – ответила девчонка. – Так говорит, будто собралась растить его до возмужалых лет. У нее от радости аж рассудок помутился – ну такой красавчик! Я б на ее месте уж постаралась бы не помирать – я б поправились от одного взгляда на эдакое дитятко, что б там Кеннет ни говорил. Я на него разозлилась будь здоров. Повитуха Арчер принесла ангелочка хозяину в дом, и хозяин только было заулыбался, как выходит этот старый брезготун и говорит ему: “Эрншо, благодарение Богу, жена твоя выжила, чтоб сына тебе оставить. Когда приехала, я был уверен, что надолго она с нами не задержится; а теперь должен тебе сказать, что зима ее, вероятно, прикончит. Ты не расстраивайся и особенно не переживай; ничего тут не поделаешь. И вдобавок, головой надо было думать, прежде чем выбирать такую чахлую невесту!”»

«А хозяин ему на это что сказал?» – поинтересовалась я.

«Выругался, я чай; да только я его не слушала, я все хотела посмотреть на дитятко». – И она снова принялась в восторге его живописать. Я в таком же раже стремглав кинулась домой, чтобы полюбоваться дитятком, хотя за Хиндли было мне ужас как грустно. У Хиндли в сердце алтари были возведены лишь двум идолам – женушке и собственной его особе; обоих он почитал, а одну на руках носить готов был, и я не разумела, как же он переживет эдакую утрату.

Когда мы добрались до Громотевиной Горы, он стоял у парадной двери, и, перешагивая порог, я спросила, как там дитятко.

«Да еще чуток – и сам ногами побежит, Нелл!» – отвечал Хиндли, натянув на лицо бодрую улыбку.

«А хозяйка? – отважилась я. – Доктор говорит, она...»

«Будь он проклят, этот доктор! – перебил меня Хиндли, багровея лицом. – Фрэнсис вполне здорова, а через неделю и вовсе оправится. Ты наверх идешь? Передашь ей, что я зайду, если она обещает не разговаривать. Я ушел, потому что она все не могла помолчать; а ей надо... передай, что господин Кеннет велел ей лежать тихо».

Я передала его послание госпоже Эрншо; та была в настроении взбалмошном и весело отвечала мне: «Да я почти ни словечка не вымолвила, Эллен, а он дважды выходил за дверь в слезах. Ну, обещаю, что буду помалкивать; но не обещаю, что не стану над ним смеяться!»

Бедняжка! Бодрость духа изменила ей лишь в последнюю неделю перед смертью; а муж упрямо – да что там, яростно, – уверял, будто ее здоровье с каждым днем идет на поправку. Когда Кеннет объявил, что все его снадобья при эдак развившемся недуге бесполезны и незачем ему, то бишь Кеннету, вводить Хиндли в лишние расходы, продолжая посещать хозяйку, тот огрызнулся: «Я и сам знаю, что незачем... она здорова... она вас больше и видеть не хочет! Не было у нее никакой чахотки! Попросту лихорадка, да и та уже прошла; пульс у нее теперь не быстрее моего, и щеки прохладные».

Таковыми же сказками он кормил жену, и она как будто верила; но как-то ночью, прислонившись к его плечу и говоря, что, пожалуй, завтра сможет встать, она закашлялась – совсем чуть-чуть, – и он подхватил ее на руки, а она обняла его за шею, и лицо ее исказилось, и она умерла.

Как и предвидела девчонка, младенец Хэртон целиком достался мне. Господину Эрншо довольно было видеть, что ребенок здоров, и не слышать детского плача. Сам же Хиндли впал в отчаяние – скорбь его не знала слез. Он не рыдал и не молился, но сыпал ругательствами и проклятиями; костерил Господа с человечеством заодно и предавался безрассудному разгулу. Слуги недолго сносили его тиранство и жестокость; в доме остались только мы с Джозефом. Мне духу не хватало бросить моего выкормыша; и вообще, понимаете, я же как-никак была Хиндли молочная сестра и многое прощала ему легче, нежели простил бы чужой. Джозеф остался попирать съемщиков да батраков; а в придачу у него призвание такое – быть там, где грешат напрапалу и есть что обличать.

Хозяйские дурные компаньоны и дурной образ жизни хорошеньким стали примером для Кэтрин с Хитклиффом. Последнего Хиндли третировал так, что любой святой обернулся бы злобной тварью. Честно вам скажу, в те времена и впрямь мерещилось, будто парнишкой завладело что-то дьявольское. Он с наслаждением наблюдал, как Хиндли погрязает в грехах, от коих не отмыться, и с каждым днем все яснее выказывал злую угрюмость да свирепость. Я в догадках терялась, что это за преисподняя такая воцарилась у нас в доме. Викарий бросил навещать Громотевичную Гору; в конце концов и все приличные люди стали нас сторониться, разве только Эдгар Линтон наносил визиты юной госпоже Кэтрин. В пятнадцать она в округе нашей стала королевой; равных ей не было, а выросла она существом надменным и упертым! Не буду отрицать: Кэтрин, как повзрослела, мне разонравилась; она часто сердилась на меня за мои потуги умерить ее чванство; впрочем, антипатии ко мне не питала. Она хранила замечательную верность прежним своим друзьям; даже Хитклифф пользовался неизменной ее привязанностью, а молодой Линтон, невзирая на все свое превосходство, затруднялся произвести на нее столь же яркое впечатление. Он и был моим покойным хозяином; вон там над камином его портрет. Прежде обок от него висел и портрет его супруги, да только его теперь убрали, а иначе вы б хоть отчасти поняли, какая она была. Сможете разглядеть?

Госпожа Дин подняла свечу повыше, и я различил нежные черты лица, весьма напоминающего молодую даму в Громотевичной Горе, однако задумчивее и дружелюбнее выраженьем. Прелестная картинка. Длинные светлые волосы слегка завивались на висках; глаза большие и серьезные; фигура едва ль не чересчур изящна. Не приходилось дивиться, отчего Кэтрин Эрншо предпочла эту персону своему первому другу. Но я немало дивился тому, как он, обладатель ума, подобной личности сообразного, мог полюбить Кэтрин Эрншо, кою я себе воображал.

– Изрядно приятственный портрет, – заметил я. – Похож на оригинал?

– Похож, – отвечала экономка, – однако он лучше выглядел, когда оживлялся; а вот так он смотрелся всегда – ему вообще живости не доставало.

Пять недель прогостив у Линтонов, Кэтрин поддерживала знакомство с ними; а поскольку у нее не возникало соблазна в эдаком обществе выказывать грубость и хватало разумения стыдиться грубости там, где неизменно встречала любезность, она, сама того не ведая, искусной своей сердечностью одурачила старых господина с госпожою, добилась восхищения Изабеллы и завоевала сердце и душу брата этой последней – приобретения, кои с первых дней льстили ей, ибо она была весьма честолюбива, и побуждали ее к двуличию, хотя обманывать она вообще-то никого не намеревалась. Ежели при ней Хитклиффа обзывали «вульгарным молодым безобразником» и объявляли, что он «хуже головореза», Кэтрин изо всех сил старалась не вести себя, как он; однако дома она не питала желания упражняться в учтивости,

над которой лишь посмеются, и сдерживать необузданную свою натуру, каковые старания не принесут ей ни чести, ни похвал.

Господину Эдгару редко хватало смелости открыто навещать Громотевицную Гору. Он страшился репутации Эрншо и избегал с ним встречаться; мы, однако, всегда принимали его по мере сил любезно, и сам хозяин старался его не обижать, понимая, зачем господин Эдгар приходит, а ежели не мог изобразить вежливость, убирался с глаз долой. Мне-то думается, что визиты его Кэтрин были не по нраву: она не умела хитрить да кокетничать и явно не желала, чтобы два ее друга встречались лицом к лицу, ибо когда Хитклифф выражал презрение к Линтону при сем последнем, она никоим образом не могла согласиться, как делала в его отсутствие; а когда Линтон выказывал отвращение и антипатию к Хитклиффу, она не смела встретить его чувства равнодушием, словно унижение друга детства едва ли ее задевает. Уж я нахохоталась вдоволь над ее зававыками, кои она тщетно пыталась от моих насмешек скрывать. Вам может примститься, будто я злорадствую; однако она так возгордилась, что решительно невозможно было жалеть о ее невзгодах, пока не смиришь ее гордыню хотя бы слегка. В конце концов-то она собралась с духом, поверилась мне и поделилась своими бедами; больше ей вовсе не в ком было найти советчика.

Как-то под вечер господин Хиндли отбыл из дома, и Хитклифф по такому случаю решил устроить себе выходной. Было ему, наверное, лет шестнадцать, и, не обладая дурными чертами облика и недостатком ума, он умудрялся производить впечатление внутреннего и внешнего уродства, коего нынешнее его обличье не сохранило ни следа. Начать с того, что он тогда уже растерял все преимущества детского своего образования; вечный тяжелый труд с зари до заката погасил в нем прежнее любопытство и склонность к познавательным книгам. Рассеивалось и его детское ощущение превосходства, внушенное добротой старого господина Эрншо. Он долго тщился не отставать от Кэтрин в учебе и сдался с пронзительным, хоть и безмолвным сожаленьем; однако сдался напрочь: едва понял, что ему с неизбежностью уготовано опуститься ниже прежнего своего положения, никакими силами его стало не подтолкнуть хоть одной ступенькою повыше. Затем облик его слачился с умственным падением: он сутулился, зыркал злобно, природная сдержанность обернулась почти идиотическим замкнутым угрюмством, и он, похоже, переживал мрачное удовольствие, в немногочисленных своих знакомцах пробуждая не уважение, но гадливость.

Передышки, что выпадали ему в работе, он по-прежнему проводил с Кэтрин; однако любовь свою к ней он больше не высказывал словами и с сердитой подозрительностью отшатывался от ее девчоночьих ласк, будто сознавая, что подобные знаки нежности, уделенные ему, пропадут втуне. В вышепомянутом случае он явился в дом и объявил, что ничего делать не намерен; я между тем помогала юной госпоже Кэтрин одеться: она не учла, что ему взбредет в голову бездельничать, полагала, что останется одна, неведомо как оповестила господина Эдгара, что брата ее дома не будет, и теперь готовилась его принять.

«Кэти, ты нынче занята? – спросил Хитклифф. – Собралась куда-то?»

«Да нет, дождь ведь идет», – отвечала она.

«А зачем тогда шелковое платье напялила? – спросил он. – Надеюсь, в гости никто не заявится?»

«Насколько я знаю, нет, – промямлила юная госпожа, – но ты-то в поле должен быть, Хитклифф. Обед уж час как миновал; я думала, ты ушел».

«Хиндли редко избавляет нас от клятого своего общества, – заметил мальчик. – Я сегодня больше работать не буду; останусь тут с тобой».

«Ой, но Джозеф ведь наябедничает, – возразила она. – Ты лучше иди!»

«Джозеф известь раскидывает за Пенистонскими скалами; дотемна там провозится и ничего не узнает».

С этими словами Хитклифф подобрел к очагу и уселся. Мгновенье Кэтрин поразмыслила, нахмуря лоб, – и решила, что грядущее вторжение надобно как-то сгладить.

«Изабелла и Эдгар Линтоны говорили, что, может, заглянут сегодня под вечер, – сказала она после минутного молчания. – Дождь идет, и я едва ли их жду; но они могут приехать, а если так, тебе предстоит попреки ни за что ни про что».

«Вели Эллен, пусть скажет, что ты занята, Кэти, – не отступил он. – Не прогоняй меня ради этих твоих жалких глупых друзей! Меня порой так и подмывает посетовать, что они... но я не стану...»

«Что они? – вскричала Кэтрин, в тревоге воззрившись на него. – Ой, Нелли! – капризно прибавила она, вырываясь из моих рук. – Ты мне все кудри вычесала! Хватит, оставь меня. На что тебя подмывает посетовать, Хитклифф?»

«Да ни на что – только видишь вон там календарь на стене? – Он показал на листок в рамочке у окна и продолжал: – Крестики – это вечера, что ты провела с Линтонами; точки – вечера со мной. Видишь? Я каждый день обозначил».

«Да уж, и очень глупо; можно подумать, я замечала! – сварливо ответила Кэтрин. – Ну и зачем это надо?»

«Чтобы ты видела: я-то замечаю», – пояснил Хитклифф.

«Мне что, вечно с тобой сидеть как привязанной? – досадуя все больше, осведомилась она. – И что хорошего? Ты меня ни словом не развлекаешь, ни делом – все равно что безъязыкий или младенец грудной!»

«Ты мне раньше не говорила, что я слишком мало болтаю и что тебе мое общество не нравится!» – вскричал Хитклифф в великой ажитации.

«Да какое общество, когда человек и не знает ничего, и не говорит», – буркнула она.

Компаньон ее вскочил, но выразить свои чувства обстоятельно не успел: по плитам процокали копыта и затем, тихонько постучав, вошел молодой Линтон, в восторге отозвавшийся на внезапный зов. Когда один ее друг вступил в дом, а другой сей дом покинул, от нее, несомненно, не укрылась разница между ними. Такой же примерно контраст, как будто вы из холмистых краев, где только дожди да уголь, выехали в прекрасную плодородную долину; голос Линтона и приветствие составили такую же противоположность Хитклиффу, как и его облик. У него была приятная ровная манера речи, и слова он произносил похоже на вас; не так грубо, как мы тут говорим, и тише.

«Я не слишком рано?» – спросил он, покосившись на меня; я как раз вытирала тарелку и прибиралась в ящиках комода в дальнем углу.

«Нет, – сказала Кэтрин. – Что ты там делаешь, Нелли?»

«Работаю, госпожа», – отвечала я. (Господин Хиндли распорядился, чтоб я сидела третьей стороной при любых визитах Линтона, коли тот захочет повидаться с Кэтрин наедине.)

Она шагнула мне за спину и сердито зашептала: «Уходи и забирай свои метелки; когда в доме гости, слуги не чистят и не моют дом у них на глазах!»

«Это мне ладно выпала минутка, коли хозяин уехал, – вслух ответила я. – Он терпеть не может, когда я суечусь и хлопочу при нем. Господин Эдгар наверняка меня извинит».

«А я терпеть не могу, когда ты суетишься и хлопочешь при *мне*», – надменно возвестила юная госпожа, не дав гостю и рта раскрыть: она еще не овладела собой после стычки с Хитклиффом.

«Это очень прискорбно, госпожа Кэтрин», – ответствовала я и продолжала усердно трудиться.

Полагая, что Эдгару не видно, она вырвала у меня из рук тряпку, а затем жестоко ущипнула за руку – долго и с вывертом. Я уже говорила, что недолюбливала ее и временами не без удовольствия язвила ее самолюбие, а в придачу больно было ужас как, поэтому я вскочила с

колен и завопила: «Ой, госпожа, зачем так жестоко? Вы права никакого не имеете меня щипать, и я ничего эдакого не стерплю!»

«Я тебя пальцем не тронула, лгунья!» – закричала она, хотя руки у нее чесались повторить, а уши от ярости заалели. Никогда не умела скрывать страсти – чуть что пылала как маков цвет.

«А это что такое?!» – вознегодовала я, в опровержение предъявив решительно лиловое свидетельство.

Она топнула ногой, на миг замялась, а затем, не устояв пред озорной своей натурой, закатила мне оплеуху – аж щеку обожгло и слезы на глаза выступили.

«Кэтрин, голубушка моя! Кэтрин!» – вмешался Линтон, донельзя пораженный двойным прегрешеньем своего идола – ее ложью и ее драчливостью.

«Уйди, Эллен!» – повторила она, дрожа всем телом.

Маленький Хэртон, что всюду ходил за мною хвостиком, а тогда сидел рядом на полу, увидел, что я плачу, и заревел сам, сквозь слезы коря «злую тетю Кэти», что навлекло ярость и на его невезучую головушку: она схватила его за плечи и давай трясти, пока бедный дитятко весь не посинел; Эдгар же опрометчиво схватил ее за руки, желая спасти ребенка. В мгновение ока одна рука оказалась на свободе, и потрясенный молодой человек почувствовал, как руку эту применили к его собственному уху, и едва ли в рассуждении пошутить. В испуге он попятился. Я подхватила Хэртона на руки и ушла с ним в кухню, оставив дверь открытой, поскольку любопытствовала, как же они уладят свои разногласия. Оскорбленный визитер, побелев и дрожа губою, шагнул туда, где оставил свою шляпу.

«Вот и правильно! – сказала я себе. – Услышь остережение и беги! Это был добрый поступок – хоть мельком показать тебе, каков ее истинный нрав».

«Вы куда собрались?» – осведомилась Кэтрин, ведя наступление к двери.

Он увернулся и попытался проскользнуть мимо нее.

«Вы никуда не уйдете!» – с жаром вскричала она.

«Я должен уйти и уйду!» – упавшим голосом отвечивал он.

«Нет, – упорствовала она, вцепившись в дверную ручку. – Нетушки, Эдгар Линтон. Сядьте, вы меня в таком расположении духа не оставите. Я буду страдать всю ночь, а из-за вас я страдать не намерена!»

«Как мне остаться, если вы меня ударили?» – спросил он.

Кэтрин онемела.

«Мне было страшно на вас смотреть и стыдно, – продолжал он. – Я сюда больше не приду!»

Глаза ее заблестали, а веки задрожали.

«И вы нарочно сказали неправду!» – прибавил он.

«Ничего подобного! – закричала она, вновь обретая дар речи. – Ничего я не нарочно! Что ж, уходите, если вам так угодно, – убирайтесь! А я буду плакать... буду плакать, пока не заболею!»

Она упала на колени подле кресла и не шутя разрыдалась в три ручья. Эдгару хватило решимости выйти на двор; там он, однако, замешкался. Я решила его ободрить.

«Госпожа у нас шибко своенравная, сэр, – крикнула я ему. – Избалованный ребенок, ни дать ни взять. Вы уж лучше поезжайте домой, не то она и вправду заболеет, лишь бы нас огорчить».

Бедный мямля краем глаза глянул в окно; власти уехать у него имелось не больше, чем у кошки – бросить недобитую мышь или недоеденную птичку. Эх, подумала я, этого уже не спасти; он обречен и во весь опор мчится к своей гибели! И не прогадала: он резко развернулся, вновь поспешил в дом, затворил за собой дверь, а спустя время, войдя и объявив им, что Эрншо возвратился пьяный вдрызг и готов весь дом разнести вдребезги (чего он обычно и желал в

подобном состоянии), я увидела, что ссора лишь сблизила их – разбила оковы юной робости, позволила им отбросить личину дружбы и признаться друг другу в любви.

Сведения о прибытии господина Хиндли быстренько погнали Эдгара Линтона к его лошади, а Кэтрин в спальню. Я пошла спрятать маленького Хэртона и вынуть дробь из хозяйского охотничьего ружья – в безумном своем оживлении хозяин любил повозиться с ружьем, угрожая жизням всем, кто вызывал его досаду или попросту чрезмерно привлекал внимание; меня же осенило, что дробь-то можно и вынуть – ежели и дойдет до пальбы, меньше случится пагубы.

Глава IX

Он вошел, горланя проклятья, страшные слуху, и застал меня, когда я сажала его сына в кухонный буфет. И любовь дикого зверя, и гнев безумца равно внушали Хэртону здравый ужас, ибо в первом случае он рисковал быть задушен в объятьях и зацелован до смерти, а во втором – быть отшвырнут в камин либо измолочен об стену; посему бедное дитяtko сидело тихо, как мышка, куда бы я его ни спрятала.

«Ах вот оно что! Наконец-то мне открылась правда! – возопил Хиндли, оттаскивая меня за шкуру, как собаку. – Богом и дьяволом клянусь, вы тут все сговорились погубить ребенка! Теперь-то мне ясно, отчего я никогда его не вижу. Но, Сатана свидетель, ты у меня мясной тесак проглотишь, Нелли! И нечего смеяться – я только что запихнул Кеннета головой вперед в болото Черной Лошади, а по мне что один, что двое – хочу кого-нибудь из вас убить и покоя мне не будет, пока не убью!»

«Да только, господин Хиндли, не нравится мне мясной тесак, – отвечала я. – Им копченую селедку резали. Лучше вы меня пристрелите, будьте любезны».

«Лучше я тебя к чертям пошлю! – сказал он. – И пошла ты к черту. Нет такого закона в Англии, что запрещает мужчине блюсти приличный дом, а у меня не дом, а мерзость сплошная! Открывай рот».

И он запихнул кончик ножа мне между зубов; но меня-то выходки его никогда особо не пугали. Я сплюнула и сообщила, что на вкус ножик отвратительный – я его совать в рот ни за что не стану.

«А! – сказал он, отпустив меня. – Я теперь вижу, что этот уродливый злодейчик – никакой не Хэртон; прошу прощения, Нелл. Будь это Хэртон, заслужил бы свежаванья живьем за то, что не побегал меня встречать, а завопил, будто гоблина увидел. Ну-ка поди сюда, изверг! Уж я тебя проучу! За нос водить доброго облапошенного отца! Что скажешь – если парнишку остричь, не выйдет ли красивее? Собаки от такого свирепеют, а свирепых я люблю... неси-ка ножницы... свирепых и стриженных! И вдобавок какая отвратительная манерность... дьявольское самомнение, вот что это такое – свои уши лелеять... мы и без них-то ослы осли. Тише, дитя, уймись! Вон оно что – это ж мое дитяtko! цыц, вытри глазки – вот молодчина; поцелуй меня. Что такое?! Не хочет? Поцелуй меня, Хэртон! Черти бы тебя взяли, поцелуй меня! Богом клянусь, я вырастил какое-то чудовище! Я этому выродку шею сверну, ей-же-ей!»

Бедный Хэртон и так-то что есть мочи визжал, брыкаясь в отцовских объятьях, но удвоил старания, когда Хиндли отнес его наверх и свесил через перила. Я закричала, что он напугает ребенка до родимчика, и кинулась дитяtke на помощь. Когда я подбежала, Хиндли перегнулся через перила, прислушиваясь к шуму внизу; почти забыв, что это он такое держит в руках.

«Это кто там?» – спросил он, слышав шаги у подножия лестницы. Я тоже наклонилась – я узнала шаги Хитклиффа и намеревалась дать ему знак не подходить; но как только я отвела глаза от Хэртона, тот вдруг трепыхнулся, вырвался из небрежной отцовской хватки и упал.

Толком не успев пережить приступ ужаса, мы увидели, что бедняжка спасен. Хитклифф очень вовремя ступил под лестницу, естественным жестом прервал полет дитяти, поставил его на ноги и задрал голову, желая знать, кто учинил такое несчастье. Скопидом, что за пять шиллингов расстался со счастливым лотерейным билетом, а на завтра узнал, что потерял пять тысяч фунтов, не явил бы столь растерянной grimасы, в какую сложилось лицо Хитклиффа, едва он узрел над перилами господина Эрншо. Яснее любых слов лицо это выражало острейшую кручину – он своими руками пресек собственную месть. Будь в доме темно, он наверняка попытался бы исправить оплошность, раздробив Хэртону череп о ступени, однако все мы своими глазами видели, что ребенок спасен, а я мигом кинулась вниз и прижала к сердцу своего драгоценного выкормыша. Хиндли сошел неторопливее, протрезвевший и смущенный.

«Это все ты виновата, Эллен, – сказал он. – Надо было проследить, чтоб он не попадался мне на глаза; надо было его от меня спрятать! Он поранился?»

«Поранился! – в гневе закричала я. – Ежели он и жив, теперь останется идиотом! Ох, да его мать в гробу переворачивается, глядя, как вы над ним издеваетесь! Так поступать со своей плотью и кровью! Вы хуже язычника!»

Он хотел было погладить ребенка – тот, очутившись подле меня, тотчас принялся выплакивать свой ужас. Однако, едва отец коснулся его пальцем, дитя завопило громче прежнего и забилося как припадочное.

«А не надобно вам к нему лезть! – продолжала я. – Он вас ненавидит – вас тут все ненавидят, я вам святую правду говорю! Нечего сказать, счастливое у вас семейство; да и вы теперь тоже – ничего себе красивая картинка!»

«Я, Нелли, еще краше стану, – засмеялся этот заблудший человек, вновь обретя душевную твердость. – А сейчас убирайся сама и его забирай. Слышь, Хитклифф? и ты исчезни, чтоб я тебя не тронул и чтоб ни звука от тебя не доносилось. Нынче я тебя не прикончу – разве только запалю в доме пожар; но тут уж как мне в голову взбредет».

Говоря все это, он достал из буфета pintу бренди и налил себе.

«Прошу вас, не надо! – взмолилась я. – Господин Хиндли, послушайте меня, остерегитесь. Ежели вам себя не жалко, пожалейте дитятко горемычное!»

«Ему от кого угодно радости будет больше, чем от меня», – отвечал Хиндли.

«Пожалейте душу свою!» – сказала я, пытаюсь отнять у него стакан.

«Ну уж нет! Напротив, я с превеликим удовольствием обреку ее на погибель – пусть ее Создатель устыдится! – вскричал богохульник. – Так выпьем же за то, чтоб ее прокляли от души!»

Он плотнул спиртного и в гневе отослал нас прочь, прервав собственные распоряженья чередой кошмарных анафем, кои тошно и повторять, и помнить.

«Жалко, что он не может уморить себя выпивкой, – заметил Хитклифф, эхом пробубнив себе под нос ответные проклятия через затворенную дверь. – Уж так старается, да здоровье не позволяет. Господин Кеннет говорит, он кобылу свою готов поставить, что Хиндли переживет любого мужика по эту сторону Гиммертона и ляжет в могилу убежденным сединами грешником – разве только ему выпадет счастливый случай необычайного какого свойства».

Я направилась в кухню и принялась баюкать своего ягненочка. Думала, Хитклифф ушел в амбар. Потом-то я узнала, что он лишь зашел за коник, бросился на лавку у стены, подальше от огня, и молча там лежал.

Я укачивала Хэртон на коленях и мурлыкала ему песенку, что начиналась так:

Децата плачеха, как пришла темнота, Из-под гробища грустно стенала та... – и тут юная госпожа Кэти, которая слышала весь переполох из спальни, просунула голову в дверь и прошептала: «Ты одна, Нелли?»

«Да, госпожа», – ответила я.

Она вошла и шагнула к очагу. Мне примстилось, она хочет что-то сказать, и я подняла голову. Лицо у нее было тревожное и испуганное. Губы приотворились, будто она собиралась заговорить и вдохнула воздух, но тот истек из нее не словами, но вздохом. Я снова запела – я-то ж не забыла, как Кэтрин себя давеча вела.

«А где Хитклифф?» – перебила она меня.

«В конюшне работает», – был мой ответ.

Хитклифф не возразил – небось задремал. Опять наступило долгое молчание, и я заметила, как слезинка-другая пробежала по щекам Кэтрин и упала на плиты. Это что ж, думаю, устыдилась дурного поведения? Вот так новости; но пускай сама дозреет – а она дозреет, – я ей пособлять не стану! Но нет, ничто на свете не тревожило ее, кроме собственных невзгод.

«Ох, батюшки! – в конце концов вскричала она. – Я так несчастна!»

«Какая жалость, – отметила я. – Вам прямо и не угодишь; так много друзей, так мало забот, а вы всё недовольны!»

«Нелли, ты сохранишь мой секрет?» – продолжала она, опустившись подле меня на колени и воздев неотразимые свои глаза; и глядела так, что волей-неволей бросишь сердиться, коли даже и имеешь на то полное право.

«А он того стоит?» – спросила я уже не так сварливо.

«Да, и он меня мучает, и я должна рассказать! Я не понимаю, что мне делать. Сегодня Эдгар Линтон предложил мне пойти за него замуж, и я дала ему ответ. И прежде чем я расскажу, согласилась я или отказала, скажи ты, как мне надлежало ответить».

«Помилуйте, госпожа Кэтрин, мне-то как знать? – сказала я. – Вы ж нынче такую сцену ему закатили, что отказать было бы мудрее: коли он вас после эдакого замуж позвал, он, выходит, безнадежный дурак либо отважный глупец».

«Раз ты так, я тебе ничего больше не расскажу, – огрызнулась она, поднявшись на ноги. – Я согласилась, Нелли. А теперь ответ скорее, дурно ли я поступила!»

«Вы согласились! Ну и что тогда проку языками чесать? Коли слово дано, обратно не возьмешь».

«Но ты скажи, надо ли мне было так поступать... скажи мне!» – в досаде вскричала она, растирая себе руки и хмуря лоб.

«Тут есть о чем побеседовать, прежде чем можно будет ответить как полагается, – наставительно сказала я. – Перво-наперво – вы любите господина Эдгара?»

«Как его не любить? Конечно, люблю», – ответила она.

Тут я учинила ей допрос, для девушки двадцати двух годков от роду изрядно рассудительный.

«Почему вы его любите, госпожа Кэти?»

«Что за вздор? Люблю – и того довольно».

«Ничуть не так; ответьте почему».

«Ну, потому что он красив и с ним приятно».

«Не пойдет», – так ответствовала на это я.

«И потому что он молод и весел».

«Все одно не пойдет».

«И потому что он любит меня».

«Это не важно; уже теплее».

«И он будет богат, и мне по нраву стать самой важной дамой в округе, и я буду гордиться таким мужем».

«Хуже некуда. А теперь расскажите, как вы его любите».

«Как все любят... Ну что за глупости, Нелли».

«Никакие не глупости – отвечайте».

«Я люблю землю у него под ногами и воздух над его головою, и все, к чему он прикоснется, и всякое слово, что произнесут его уста. Я люблю всякую черту его и всякий поступок, люблю его всего без изъятия. Вот, изволь!»

«А почему?»

«Нет уж, ты надо мной насмехаешься, и это весьма с твоей стороны дурно! Для меня это никакие не шутки!» – сердито промолвила юная госпожа и отвернулась к огню.

«Я ни капельки не насмехаюсь, госпожа Кэтрин, – ответила я. – Вы любите господина Эдгара, потому как он красив, и молод, и весел, и богат, и любит вас. Последнее, однако, – не велика важность; вы, думается мне, любили б его, кабы он вас и не любил, и не любили бы, будь он лишен других четырех достоинств».

«Разумеется, нет; я бы его разве только жалела – а то и ненавидела, будь он уродлив и груб».

«Но в мире найдутся и другие красивые молодые богачи – вероятно, красивее его и богаче. Что ж вам мешает любить их?»

«Если они и есть, мне не встречались; таких, как Эдгар, я не видала».

«Чай, еще увидите; а он не навек красив и молод, да и богат, возможно, не навек».

«Но сейчас он таков, а я живу лишь этой минутой. Говори разумно, уж будь добра».

«Тогда и беды никакой нету; ежели вы живете лишь этой минутой, выходите за господина Линтона».

«Мне твое дозволение не нужно – я *и так* за него выйду; но ты не сказала мне, верно ли я поступаю».

«Замечательно верно вы поступаете, ежели следует выходить замуж лишь этой минутой. А теперь послушаем, чего ж вы несчастны-то. Брат ваш будет доволен; старые господин с госпожой небось не возразят; вы сбежите из неуютного буйного дома в дом богатый и почтенный; и в придачу вы любите Эдгара, а Эдгар любит вас. Все как по маслу, думается мне; где ж препона-то?»

«*Здесь!* и *здесь!* – отвечала Кэтрин, одной рукою хлопнув себя по лбу, другой по груди. – Уж не знаю, где там обитает душа. В душе и в сердце своем я убеждена, что поступаю неверно!»

«Странные дела! Что-то я вас не понимаю».

«Это и есть мой секрет. Если не будешь насмехаться, я объясню; речисто не могу, но ты почувствуешь, что чувствую я».

Она вновь села рядом; лицо ее погрузнело, посерьезнело, а стиснутые руки дрожали.

«Нелли, тебе снятся диковинные сны?» – некоторое время поразмыслив, вдруг спросила она.

«Да, случается», – сказала я.

«Вот и мне снятся. Мне порою грезились сны, что оставались со мной навсегда и переменили мои мысли: пропитывали меня насквозь, растворялись, как вино в воде, самую душу мою перекрашивали в иной цвет. И вот, к примеру, такой сон – я тебе расскажу, только уж постарайся ни разочка не улыбнуться».

«Ой, госпожа Кэтрин, не надо! – воспротивилась я. – Мы и без того тут горе мыкаем – не хватало, чтоб нас призраки да виденья морочили. Полноте, полноте, развеселитесь, придите в себя! Поглядите на малыша Хэртон! вот *ему* ужасы не грезятся. Как он сладко улыбается во сне!»

«Да уж, и как сладко его папаша сыплет проклятьями в одиночестве! Ты-то его, должно быть, помнишь таким же пухлощеким мальчуганом, почти столь же юным и невинным. И однако, Нелли, тебе придется выслушать – это недолго, а мне нынче веселья не видать».

«Я не слушаю, я не слушаю», – зататорила я.

Касательно снов я была суеверна тогда и остаюсь по сей день, а Кэтрин помрачнела необычайно, и я страшилась слов, из которых, чего доброго, сложу затем пророчество и предвидение страшной катастрофы. Кэтрин рассердилась, однако продолжать не стала. Спустя краткое время она заговорила снова, якобы сменив тему беседы.

«Попади я на небеса, Нелли, я бы ужасно там страдала».

«Потому как вы на небесах не ко двору, – отвечала я. – На небесах все грешники страдали бы».

«Не потому. Мне однажды во сне пригрезилось, что я на небесах».

«Я же вам сказала, госпожа Кэтрин, я не стану слушать ваши сны! Пойду спать лучше», – вновь перебила я.

Она засмеялась и меня удержала – я-то собралась было уже встать.

«Это все чепуха, – возразила она. – Я лишь хотела сказать, что небеса мне были, похоже, негодный приют; я всю душу там выплакала, мечтая вернуться на землю, и ангелы так разозлились, что выбросили меня посреди пустоши, прямо в Громотевичную Гору, и я проснулась,

рыдая от радости. Сего довольно, чтоб изъяснить мой секрет, да и не только. Мне выходить за Эдгара Линтона – все равно что отправиться на небеса; и если б злой человек вон там, за стенкой, не низвел Хитклиффа до столь низкого положенья, о подобном замужестве я бы и не думала. Но теперь мне за Хитклиффа выходить позорно, а посему он никогда не узнает, как я его люблю; и не потому, что он красив, Нелли, а потому что он есть я и больше даже, нежели я сама. Из чего ни сработаны человечесьи души, у нас с Хитклиффом они из одной ткани, а у Линтона душа от наших отлична, как лунный луч от молнии или изморозь от пламени».

Не успела она договорить, я заметила Хитклиффа. Уловив крохотное его движение, я обернулась и увидела, как он поднялся с лавки и беззвучно прокрался за дверь. Он внимал, покуда Кэтрин не объявила, что выйти за него ей позорно, а дослушать не остался. Компания моя сидела на полу и за спинкою коника не разглядела, что Хитклифф был с нами и ушел; я же вздрогнула и велела ей замолчать.

«Что такое?» – спросила она, взволнованно озираясь.

«Джозеф, – отвечала я, ибо на дороге, по счастью, раздался грохот его телеги, – а с ним и Хитклифф вернется. Мне почудилось, он только что под дверью стоял».

«Ой, ну не мог же он подслушать из-за двери! – ответила она. – Дай мне Хэртону, сготовь ужин, а когда закончишь, позови меня отужинать с вами. Я хочу обмануть беспокойную свою совесть и убедиться, что Хитклифф ничего такого ни о чем таком не ведает. Правда же? Он не понимает, что значит полюбить!»

«Не вижу, отчего бы ему не понимать, да и не хуже вашего, – отвечала я. – А коли выбор его пал на вас, еще не рождалось на свет создания горемычнее, чем он! Как вы станете госпожой Линтон, он утратит и друга, и любимую, и всё на свете! Вы головой-то подумали, как снесете разлуку и как он ее снесет – он ведь останется в мире один-одинешенек? Потому как, госпожа Кэтрин...»

«Один-одинешенек! разлука! – в негодовании повторила она. – Это кто же нас разлучит? Да их постигнет судьба Милона!⁸ До смертного моего часа, Эллен, ни одно живое существо не учинит такого. Все Линтоны истают под солнцем, прежде чем я откажусь от Хитклиффа. Ой, я не это хотела... я не то имела в виду! Я не стану госпожою Линтон, если с меня потребуют такую цену! Он для меня пребудет тем, чем был всю жизнь. Эдгару надлежит избавиться от своего нерасположенья и хотя бы его терпеть. И он стерпит, едва узнает, каковы мои истинные чувства. Нелли, я же вижу, ты считаешь меня за себялюбивую негодяйку; но неужто тебе не приходило в голову, что мы с Хитклиффом, если поженимся, пойдем побираться? а выйдя за Линтона, я смогу помочь Хитклиффу вознестись и освободиться от власти моего брата».

«На мужнины деньги, госпожа Кэтрин? – спросила я. – Зря вы рассчитываете, что он так сговорчив, помяните мое слово; судить тут не мне, но, пожалуй, хуже причины стать женою молодого Линтона вы еще не приводили».

«Наоборот, – возразила она, – нет причины лучше! Прочие удовлетворяли мои капризы и желания Эдгара – дабы он был удовлетворен. Сия же – ради того, кто собой воплощает мои чувства к Эдгару и к себе самой. Я не умею выразить; но наверняка ведь и ты, и все люди на земле постигают, что существует или должно существовать бытие за пределами себя. Что проку в сем создании, если я совершенно заперта здесь? Первейшие мои горести на свете – это горести Хитклиффа, и с самого начала я каждую видела и чувствовала; первейшая мысль моя – о нем. Если всё погибнет, но останется *он* – я буду жить; если же всё останется, но он исчезнет, до чего странной и чужой обернется вселенная; мне с нею станет не по пути... Любовь моя к Линтону – что листва в лесу; со временем она переменится, я прекрасно это знаю; так зимою меняются деревья. Любовь моя к Хитклиффу – что извечные камни в недрах: едва ли отрадны

⁸ Милон Кротонский – греческий атлет VI в. до н. э., великий силач; в старости попытался руками разорвать надвое дубовый пень, не поддававшийся топорам, но сам застрял в нем, и его растерзали дикие звери.

взору, однако насущны. Нелли, я *и есть* Хитклифф! Он всегда, всегда в моих помыслах, и не утехой мне – ибо разве я себе самой утеха? – но частью моего существа. А посему не говори мне больше о нашей разлуке; это невозможно, и...»

Она осеклась и спрятала лицо мне в подол, однако я рывком отстранилась. Несуразица ее стала мне нестерпима!

«Ежели я верно поняла, что за гиль вы несете, – сказала я, – по всему выходит, что вы ведать не ведаете, каков ваш супружеский долг; либо же вы испорченная беспринципная девочка. Больше не ходите ко мне со своими секретами; я не обещаю их хранить».

«Но этот сохранишь?» – горячо спросила она.

«Нет, я не обещаю», – повторила я.

Она хотела было настаивать, да появление Джозефа прервало наш разговор; Кэтрин пересела в угол и стала нянчиться с Хэртоном, а я тем временем взялась стряпать. Как ужин был готов, мы с моим сотоварищем-слугою поругались из-за того, кто отнесет поесть господину Хиндли, и всё не могли уговориться, покуда совсем почти не остыло. Затем поладили на том, что пускай сам спросит, – как он посидит в одиночестве, мы тогда особенно боялись к нему заходить.

«А шушваль наш чогой-то с поля не возверталсси в эдакую поздноту? Кудась задевалсси, лодырь бестолочный?» – спросил старик, озираясь и не находя Хитклиффа.

«Я позову, – сказала я. – Он небось в амбаре».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.